

М.Н.Волконский

**КНЯЗЬ НИКИТА ФЁДОРОВИЧ
ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН В ТРЁХ ЧАСТЯХ**

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

"Ты защищал, Господи, дело души моей, искуплял жизнь мою".
"Плач Иеремии", гл. III, ст. 58.

I МИТАВА

По воле государя князь Никита Фёдорович Волконский был записан в Преображенский полк и отправлен в числе других молодых людей за границу для обучения разным наукам и искусствам. Он безостановочно ехал морем от Петербурга до Риги, откуда должен был продолжать путешествие на лошадях, направляясь в Курляндию, на Митаву. Два года тому назад Рига, сдавшаяся русскому оружию, вошла уже в состав Российской империи, и, согласно данному царём приказанию ни минуты не останавливаться в пределах России, Никита Фёдорович не мог мешкать в этом городе. Только в Митаве мог он отдохнуть.

Он остановился здесь у товарища своего детства Черемзина, занимавшего, по своему придворному положению, небольшую квартиру в самом замке Кетлеров, служившем резиденцией герцогини Курляндской.

Черемзин, разбитной молодой человек, побывавший за границей, в Париже, живо впитал в себя верхи европейской образованности и покрылся лаком внешнего приличия, созданного щепетильным этикетом блестящего двора Людовика XIV. Это было всё, что он вынес из своего пребывания за границей; впрочем, он привёз с собою оттуда также несколько ящичков книг, красиво переплетённых, но не прочитанных.

На другой же день своего приезда в Митаву Волконский побывал у русского резидента в Курляндии Бестужева, силою царя Петра управлявшего всем герцогством, согласно воле своего государя.

Бестужев, к которому у князя Никиты было рекомендательное письмо из Петербурга, принял его ласково, пригласил к себе на обед, расспросил о

петербургских знакомых, о государе, о дворе и тут же представил своей дочери Аграфене Петровне.

В гостиной Бестужева пахло какими-то очень сильными, должно быть, восточными курениями, стояла золотая мебель, обитая голубым штофом, и блестел, как зеркало, вылощенный, натёртый воском паркет. Князь Никита видал роскошь, видал богатые дома в Петербурге, недавно выросшем на болотах, и в Москве, но там всё было далеко не то, что здесь. Не было этой блестящей чистоты, отделанности, законченности и вместе с тем кажущейся простоты.

Молодая хозяйка дома тоже казалась вовсе не похожей на тех, вечно робевших и боявшихся взглянуть, не только говорить, молодых девушек, полных и румяных, которых Никита Фёдорович видал до сих пор. Бестужева не только не робела пред ним, но, напротив, он чувствовал, что сам с каждым словом всё больше и больше робеет пред нею и не смеет поднять свои глаза, глупо уставившиеся на маленькую, плотно обтянутую чулком, точёную ножку девушки, смело выглянувшую из-под её ловко сшитого шёлкового платья.

Волконский не знал, как и вовремя ли он встал, поклонился и вышел осторожно, чтоб не поскользнуться, ступая по паркету. Выходя, он решил, что больше не поедет к Бестужеву.

– Ты понимаешь, – сказал он в тот вечер Черемзину, – что мне здесь у вас не нравится? Видишь ли, воли нет, простора, всё тут сжато. Вот и дома. Они, пожалуй, и больше наших московских, а всё-таки как-то давят; не хоромы они... Так и всё. Дворец вот...

– Замок, – поправил Черемзин.

– Ну, замок, что ли... Ты посмотри: окошечки узенькие, стены толстые, рвы, валы кругом. Да и люди тоже, скажу тебе, все в себя сжались, точно весь мир они только и есть, точно всё существо жизни они притянули к себе, да сдавили его. Разве так, без воли, проживёшь?

– Это ты, должно быть, с дороги устал, мой милый, – возразил Черемзин.

– А, впрочем, если желаешь простора, выйди погулять за город: там, брат, такой уж простор – прелесть...

– Что ж, и пойду, – согласился Волконский, – а то здесь просто душно... Ты не пойдёшь? – спросил он уже со шляпой и тростью в руках.

Черемзин зевнул, закинул руку за голову и отрицательно покачал головой.

– Ну, так я один пойду.

– Смотри, не опоздай вернуться – после заката в замке поднимут мост, – крикнул Черемзин ему вслед.

Выйдя из замка, Волконский направился прямо в поле по первой попавшейся дороге.

Вечер был тих и прекрасен. С лугов веяло запахом скошенного сена, и дышалось легко. Солнце садилось, окрашивая небосклон нежными красками то огненного, то желтовато-бледного заката. Волконский, испытывая особенное наслаждение поразмяться после сиденья в неудобном экипаже, шёл, объятый прелестью этого летнего вечера.

Через несколько времени он остановился, чтобы перевести дух. Сзади открылся ему вид на плоскую, окружённую зеленью Митаву, с её длинными шпицами лютеранских церквей и силуэтом тёмного замка. Черепичные кровли домов, окружённые тёмно-зелёными кущами деревьев, румянились косыми лучами заката, отражавшегося с этой стороны в изгибах реки, прозрачной и светлой.

Вдалеке, у конца расстилавшейся от ног Никиты Фёдоровича прямой, сужавшейся к городу дороги скакали несколько лошадей.

Впереди других Никита Фёдорович разглядел амазонку, которая подгоняла хлыстом свою и без того скакавшую широким галопом большую серую лошадь. Остальные, видимо, едва могли следовать за нею. На амазонке было тёмно-зелёное широкое платье с бархатною красною накидкой, красиво развивавшеюся на ходу лошади. Она быстро приближалась по дороге, подымая отягощённую вечернею сыростью пыль. Ещё несколько секунд, и Никита Фёдорович узнал в ней Бестужеву.

Он узнал её, хотя теперь она была совсем другою, чем там, у себя дома. Она сдержала уже свою лошадь и вполоборота разговаривала с нагнавшим её русским драгунским офицером. Тот, поднявшись на

стременах и почтительно склонившись вперёд, слушал её, как бы гордясь своею собеседницей.

Волконский никогда ещё не видал такой девушки. Тут не красота, не стройность, не густые брови и быстрые большие глаза притягивали к ней; нет, она вся дышала какою-то особенною, чарующею прелестью. Она легко и свободно сидела в седле, видимо, уверенная не только в каждом своём движении, но и в том, что каждое это движение хорошо и красиво, потому что в ней всё было хорошо. Никита Фёдорович смотрел на неё, забыв то смущение, которое испытывал при первом знакомстве, – забыв потому, что теперь пред ним была не Бестужева, не дочь важного сановника могучего Петра, но чистое, нездешнее, неземное существо, на которое мог радоваться всякий живущий. А она, не заметив даже Волконского, ударила лошадь и промчалась быстрее прежнего.

Он пошёл обратно в город большими шагами. Он, конечно, не мог знать, какое у него было в это время блаженное, радостное лицо, с блестящими глазами и счастливою улыбкою, но, радуясь, чувствовал во всей груди какой-то необъяснимый трепет и неудержимую удаль. Теперь всё казалось уже прекрасным. Даже холодные, мрачные своды замка получили некоторую привлекательность, и Никита Фёдорович удивлялся лишь, как прежде он не замечал, что всё в Митаве так хорошо и приятно.

Его отъезд был отложен на неопределённое время. Впрочем, это случилось как-то само собою. Он просто не приказывал своему старику слуге Лаврентию укладывать вещи, а тот не напоминал. Черемзину тоже не приходило в голову сделать своему гостю такое напоминание, и Волконский оставался в Митаве, забыв, что должен отправиться дальше по приказу грозного и не любившего послушания государя.

Волконский приехал в Митаву в смешном, грубом наряде, неповоротливый, застенчивый и, может быть, даже неуклюжий; но всё это быстро, как лишняя кора, упало с него, благодаря влиянию обстановки, в которой очутился князь Никита и которая, видимо, вовсе не была чужда его природе врождённым чутьём отгадавшей, что именно нужно.

Привезённый из Петербурга парадный кафтан из серебряного глазета, расшитый руками крепостных золотошвеек по карте золотою канителью, битью и блёстками, оказался не только скроенным не по моде, но и сидел настолько неуклюже, что его пришлось заменить новым, хотя и более простым, но зато более ловким и красивым. Затем явилась бездна мелочей, незаметно привившихся к внешней жизни Волконского. Черемзин, находя всё это совершенно естественным, не замечал этой перемены в князе, так же как и он сам.

Из русских книг, прочитанных прежде Волконским, он знал, что французы "зело храбры, но неверны и в обетах своих не крепки, а пьют много", "королевства англиканского немцы купеческие доктуроваты, а пьют много". Дальше этого сведения русских книг не распространялись. Черемзин рассказал князю Никите подробно и о французах, и о других народах, которых видел. О том, чего не видел Черемзин, князь Никита узнал из его книг, из которых оказывалось, что свет вовсе не так необыкновенен, как описывалось в русских сочинениях, говоривших "о людях, кои живут в индейской земле, сами мохнаты, без обеих губ, а питаются от древа и корения пахучего, не едят, не пьют, только нюхают и, покамест у них запахи есть, по то место и живут".

– Знаешь что, – сказал однажды Волконский Черемзину, отрываясь от немецкой книги, – всё-таки мне прежнего жаль.

– Чего прежнего? – удивился Черемзин.

– Да вот того, что описывается в наших книгах... Там есть такие рассказы, например, о царстве девичьем...

– Вот вздор! – усмехнулся Черемзин.

– Может быть, конечно, и вздор. Я вот из одной этой "Космографии", – Волконский кивнул на книгу, – понимаю, что всё это – вздор; это-то мне и жаль... Неужели всё на свете так же вот просто, как мы с тобою?

– Во-первых, мы с тобою вовсе не так просты, – ответил Черемзин, хотя и немного читавший, но тем не менее способный поддержать всякий разговор, – кто тебе это сказал? А во-вторых, есть на свете довольно чудесного и без девичьего царства.

Волконский задумался.

– Вот, – начал Черемзин, – послезавтра у Бестужевых будет немец...

– Какой немец? – спросил Волконский, чувствуя, что при имени Бестужевых краска бросается ему в лицо.

– Кудесник-немец, до некоторой степени особенный, судя по рассказам. Я один раз во Франции встретил подобного человека. Они попадаются. Если тебя интересует – пойдём вместе. Немец здесь проездом. Да, отчего ты не бываешь у Бестужевых? Там раз как-то даже спрашивали о тебе, – добавил Черемзин.

– Кто спрашивал? – не вытерпел Волконский, тут же досадуя на себя за это, потому что ещё минута – и его волнение могло быть заметно Черемзину.

Но тот совершенно равнодушно ответил:

– Право, не помню, кто именно, знаю, что говорили...

На этом разговор прекратился, но Волконский так и заволновался весь. Он жил всё это время полный своими мечтами, в каком-то восторжённом состоянии. Однако, когда Черемзин такими простыми словами и таким равнодушным голосом сказал, что он, Волконский, может пойти к Бестужевым, Никита Фёдорович почувствовал вдруг безотчётную боязнь за своё чувство, как будто оттого, что он пойдёт туда, может случиться или что-нибудь ужасное, или... Никита Фёдорович не знал, что следовало за этим "или". Он знал только, что сердце его бьётся, и кровь приливает к вискам.

Несмотря на это, теперь, после разговора с Черемзиным, он страстно, со всё увеличивающимся желанием начал ждать назначенного у Бестужевых вечера.

II КУДЕСНИК

Гости съезжались, когда Волконский с Черемзиным подъехали к дому Бестужева. Никита Фёдорович по крайней мере уже раз сто представлял себе, как он войдёт, как увидит дочь Бестужева и как вообще всё это будет. Аграфена Петровна встретила его совершенно просто, равнодушно

ответив на глубокий, почтительный поклон кивком головы, таким же, каким ответила Черемзину и всем другим. Но от этого, разумеется, она не сделалась хуже; напротив, она была ещё лучше, чем воображал Никита Фёдорович. И этот её небрежный поклон был всё-таки поклоном, обращённым к нему, и потому получал особенную прелесть.

Поздоровавшись с хозяевами, Волконский стал оглядывать гостиную. Лучше всех была, разумеется, молодая хозяйка. Все молодые люди, пышно разодетые, были вокруг неё, оставляя в стороне прочих дам, скучно и вяло сидевших в золочёных креслах.

Даже старики оберраты, толстые и солидные, которые держали себя очень важно и к которым то и дело подходил с любезной улыбкой сам Бестужев, казалось, радовались, глядя на его дочь, освещавшую всё собою. Одна только молодая дама в тёмном, не совсем ловко сшитом платье сидела отдельно на диване, сдвинув брови над довольно широко поставленными глазами и, сложив губы в принуждённую улыбку, лениво обмахивалась веером, как бы не желая ни на что обращать внимания. Эти широко поставленные глаза, улыбка, а главное – ровный большой прямой нос и два спускавшиеся прямо на лоб дамы завитка неприятно поразили Волконского, когда он взглянул на неё. Он заметил, что все, почтительно поклонившись, как-то обходили её, и только хозяин старался изредка занять её разговором, но она улыбалась ему широкой улыбкою и отвечала, видимо, односложными словами, слегка позёвывая под веером.

Среди бархатных и шёлковых расшитых кафтанов особенно отличался своим чёрным с ног до головы одеянием приезжий немец, для которого съехались сегодня к Бестужеву и который сидел теперь у окна с самым солидным и толстым оберратом. Сначала все разговаривали, будто не обращая внимания на немца, но затем мало-помалу гостиная как-то сама собою приняла то расположение, которое было необходимо. Чёрный немец очутился в середине большой дуги, образованной рядом кресел, на которых поместились старики; молодёжь, окружавшая хозяйку, сгруппировалась по-прежнему возле неё, и все незаметно придвинулись;

только дама в тёмном платье осталась по-прежнему в отдалении на своём диване. Разговор становился всё более и более отрывочным, смех делался сдержанным, все точно ждали и прислушивались, думая, что вот-вот сейчас начнётся самое интересное. Но немец, спокойно продолжая разговаривать с оберратом, ничего "не начинал" и ничего необыкновенного не показывал.

"Может быть, всё это – вздор", – мелькнуло у некоторых из гостей.

Аграфена Петровна поняла, что нужно вызвать немца на разговор, которого все ждали.

– Господин доктор, – обратилась она к нему по-немецки с откровенною решительностью, свойственною только хорошеньким женщинам, уверенным в том, что им будет позволено и всякое желание их исполнено.

Чёрный доктор склонился, почтительно слушая. Бестужева прямо поставила вопрос ребром:

– Мне говорили, что вы – особенный человек и обладаете такими удивительными знаниями, что вам доступны вещи сверхъестественные...

Немец, прищурился, ответил:

– Могу вас уверить, что на земле нет ничего сверхъестественного... Всё очень просто и обыкновенно, если знать, и только для незнания таинственно.

– Ну, это нам всё равно, – задорно сказала Бестужева, – мы ждём от вас чего-нибудь такого... удивительного...

И она улыбнулась немцу, смягчая эту улыбку резкостью своей намеренной откровенности.

– Извольте, – согласился доктор, улыбаясь в свою очередь. – Ровно сто лет тому назад...

Все притихли, довольные, что "началось"; одна лишь Бестужева не могла успокоиться.

– Что же это будет, доктор? История? – спросила она.

– Ровно сто лет тому назад, – продолжал он, не слушая, – в этот самый час был окружён врагами один монастырь, где заперся с небольшим

отрядом ратников военачальник, твёрдо решивший не сдаваться. Напрасно враги шли на приступ, напрасно лезли на высокие стены и ломались в ворота – все усилия их были напрасны. Наконец нашлись двое изменников, которые тайно впустили врагов внутрь монастыря; они вошли ночью и бросились на его защитников. Военачальник с горстью ратников кинулся в церковь и там был убит, защищаясь до последней возможности, кровь его, пролитая на церковный пол, так и осталась на камне; когда её смывали, она выступала вновь...

– Это был, вероятно, немецкий монастырь? – самоуверенно спросил оберрат. – Я помню нечто даже подобное в истории моего рода...

Все находившиеся в гостях у Бестужева немцы, которых тут было гораздо больше, чем русских, невольно постарались припомнить, не случилось ли такой истории и в их роде, которым каждый из них гордился, зная чуть ли не наизусть всю свою родословную.

– Нет, – продолжал доктор, – монастырь был русский... Вам знаком этот случай, князь? – вдруг обратился он к Волконскому.

Никита Фёдорович почувствовал, что все взгляды обращаются на него, что все – и с ними она тоже – смотрят на него. Рассказ про своего родного прадеда, погибшего при осаде Боровского монастыря, он часто слышал в своей семье ещё в детстве, но не мог понять, откуда этот приезжий, случайно встретившийся с ним немец знает и этот рассказ и, наконец, самого его. Бестужева действительно вместе с другими глядела теперь на князя Никиту. Худой, высокий и стройный, он стоял, опустив голову. До этой минуты он был для неё одним из молодых людей, составлявших толпу, на которую она всегда смотрела равнодушно, не обращая ни на кого особенного внимания, привыкнув к общему подчинению себе. Она знала, что несколько времени тому назад приехал в Митаву какой-то князь Волконский, что он был раз как-то у них, но какой он именно, не помнила. Теперь она смотрела на его довольно редкие, но приятные черты, на его высокий, бледный лоб и глубокие глаза, и странно – что-то особенное показалось ей в этом человеке, точно он не похож на остальных, точно его лицо светится как-то

особенно для неё и в его глазах она может читать всю его душу.

– Всё это очень хорошо, – обратилась она к доктору, – но я не понимаю, зачем вы рассказали эту историю про... князя... – добавила она, не найдя другого выражения и показывая веером в сторону Волконского.

– Почему я рассказал и м е н н о эту историю? – ответил доктор. – Не знаю, но расскажи я всякую другую – вы смогли бы сделать мне тот же вопрос. Но почему я вообще рассказал вам что-либо, так это вследствие вашей просьбы...

– Да что же тут удивительного? – воскликнула Бестужева с некоторой обидой, выражавшейся у неё обыкновенно в лёгком дрожании подбородка.

– Как? Разве не удивительно в самом деле то, что я вот, сидя здесь, в покойном кресле, знаю, что случилось сто лет тому назад, когда ни меня, ни вас не было и никто не думал о нас?

– Да, но вы могли прочесть этот рассказ где-нибудь или услышать, то есть сделать то, что доступно каждому из нас, – возразил один из оберратов, считавшийся самым умным в совете.

– Совершенно верно, – согласился доктор, – и вас это не удивляет лишь потому, что вы сами можете сделать это...

– Ну, конечно, – нетерпеливо перебила Бестужева, – я понимаю, если бы вы рассказали нам будущее...

– Тогда бы вас это удивило?

– Разумеется, это было бы интересней.

– А мне кажется, что это решительно всё равно; почему, собственно, труднее знать будущее, чем прошедшее?

– Ах, Господи, как почему? Да прошедшее, в особенности такое, как вы рассказали, каждый ребёнок, умеющий читать, может знать.

– А, вот вы сказали: "умеющий читать"! Видите, нужно и для знания прошедшего поучиться чему-нибудь, – значит, это вовсе не так просто, как вы думаете! – возразил доктор. – Этак ведь можно точно так же поучиться читать и о том, что будет, и тогда для человека знающего, согласитесь, пропадёт всякая разница в отношении знания для прошлого

и будущего...

– Ну, а вы будущее можете нам сказать? – настаивала Бестужева.

Доктор, улыбаясь, поднял плечи.

– Что вам угодно знать? – проговорил он.

– Позвольте! Ну, вот здесь нас, – Бестужева оглянулась, – человек тридцать, я думаю... Чья судьба вас интересует больше других?

Аграфене Петровне главным образом, как и каждому из присутствовавших, хотелось узнать свою собственную судьбу; но она нарочно, не желая говорить о себе, поставила вопрос так, будучи уверена, что, разумеется, самую интересною будет найдена её судьба. Дочь первого лица не только в городе, но и во всей Курляндии, она уже давно привыкла к лести, которую тешили её самолюбие все окружающие, отчасти вследствие высокого положения отца, а отчасти и вследствие собственного её ума, молодости и красоты.

– Наиболее интересная судьба ожидает князя, – заговорил доктор и опять обернулся в сторону Волконского, и все снова стали смотреть на него. – Вам в жизни предстоит много борьбы духовной – и победа останется за вами. Не отчаивайтесь! Будьте бодры! В положении самом жалостливом вы будете всё-таки выше людей, вас окружающих. Может быть, мы встретимся ещё когда-нибудь, – заключил доктор серьёзным, мерным голосом, каждый звук которого отдавался в сердце Никиты Фёдоровича.

"Так вот он какой – этот Волконский! – думала Аграфена Петровна, взглядывая на князя Никиту. – Вот что!.."

И она не могла не ощутить горделивого сознания, что вот человека, которого она видит теперь совсем молодым, и который, вероятно, вместе с другими робеет пред нею, ждёт впереди совершенно особенная, таинственная будущность, отличная от будущего других.

Доктор, собственно, ничем не мог сию минуту подтвердить сделанное им предсказание. Известно было только, что он никогда не видал Волконского, и никто не мог говорить ему о нём, потому что, кроме Черемзина, почти никто не знал в Митаве князя, вовсе не

принадлежавшего к жизни города. Это было странно. Но не это заставило всех поверить словам немца. Особенное доверие возбуждал его мерный, серьёзный голос, который, казалось, никогда не говорил неправды.

– Ну, а из женского находящегося здесь общества, – снова спросила Бестужева, желая всё-таки добиться своего, – кому вы подскажите будущность?

Доктор поднялся со своего места, налил из стоявшего на столе у стены графина воды в стакан и достал из кармана складную серебряную ложку.

Все в комнате с напряжённым вниманием следили за малейшим его движением. Он вынул из канделябра восковую свечу и, отломив от неё кусок и распутив его в своей ложке, быстро вылил расплавленный воск в стакан.

Бестужева не сомневалась, что гадание делается для неё, и, внимательно вытянув шею, старалась рассмотреть, какую фигуру принимает застывший в прозрачной воде воск. Доктор поднял стакан на свет и разглядывал его.

"Неужели?" – мелькнуло у Бестужевой.

В стакане ясно очерчивалась фигура короны.

Немец вынул воск, расплескав воду, и действительно тот имел форму подушки с кистями по углам, на которой лежала ажурная тонкая императорская корона со скипетром и державою.

Бестужева, краснея от удовольствия, опустила глаза, чувствуя, что взгляды всех присутствующих обращаются к ней, и все лица улыбаются ей, склоняясь, и что чёрный доктор сейчас подойдёт к ней. Но он, как бы сам поражённый, быстро выпрямился, твёрдыми большими шагами прошёл чрез комнату и, опустившись на одно колено, подал фигуру короны сидевшей в отдалении даме в тёмном платье.

Это была герцогиня Курляндская, Анна Иоанновна – будущая императрица Всероссийская.

III ГЕРЦОГИНЯ КУРЛЯНДСКАЯ

Анна Иоанновна скучала в своей Курляндии, как только может скучать

полная сил двадцатилетняя женщина, овдовевшая через два с половиною месяца после свадьбы, с детства привыкшая к огромному дому, полному всякой прислуги, приживалок и гостей, и заключённая, как в темницу, в пустынный средневековый замок с толстыми сводчатыми стенами, под которыми невольно стихала всякая попадавшая туда жизнь. Положение герцогини не только не спасало её, но, напротив, служило главной причиной её одиночества и заключения. Дочь покойного Иоанна Алексеевича, родного брата и соправителя по престолу царя Петра, она не помнила своего отца, умершего, когда ей было всего три года. Она выросла в родном селе Измайлове на попечении матери, царицы Прасковьи, вместе с двумя своими сёстрами, из которых она была среднею.

В пятнадцать лет царица Анна Иоанновна, благодаря своим не по возрасту формам и окрепшим мускулам, не казалась уже подростком.

В это время император Пётр потребовал всех членов своей семьи в Петербург, и царица Прасковья, всегда послушная желаниям своего деверя, поспешила переехать туда с дочерьми. Царь Пётр, помня кроткий нрав и подчинение своего покойного брата и видя послушание царицы Прасковьи, ласкал её дочерей и заботился о них. Анна Иоанновна стала веселиться в Петербурге, где потянулась длинная вереница выездов, катаний, обедов, фейерверков, на которых она присутствовала вместе со всей царской семьёй, окружённая почётом и вниманием. Так прошло два беззаботных года, когда, наконец, раздалось над нею страшное слово "замуж".

Сам царь Пётр выбрал племяннице жениха. Ещё в октябре 1709 года он сговорился при свидании в Мариенвердере со своим политическим союзником, королём прусским, обвенчать русскую царевну с племянником короля, Фридрихом Вильгельмом, герцогом Курляндским. Этот брак нужен был Петру, чтобы, с одной стороны, вступить в свойство с прусским королевским домом, а с другой – приобрести влияние на Курляндские дела, и он назначил невестою немецкому принцу родную племянницу свою, Анну Иоанновну.

Жених не замедлил явиться в Петербург, после того, как вопрос о приданом был тщательно обсуждён и решён его послами с русским правительством.

Свадьба справлялась целым рядом празднеств и затей. На одном из пиршеств, например, подали два огромных пирога, из которых выскочили две разряженные карлицы и протанцевали менуэт на свадебном столе. В то же время была сыграна потешная свадьба карликов, для чего их собрали со всей России до полутораста.

Пирьы и празднества закончились небывалою попойкою, после которой молодого замертво уложили в возок и отправили вместе с женою домой в Курляндию. Но герцог мог доехать только до мызы Дудергоф и здесь, в сорока верстах от Петербурга, скоропостижно скончался.

Смерть мужа оставила Анну Иоанновну вдовою без воспоминаний о супружеском счастье и герцогинею без связанных с этим титулом значения и власти. По политическим расчётам Петра она всё-таки должна была отправиться в Курляндию. Герцогский жезл получил там, после кончины Фридриха Вильгельма, последний потомок Кетлеров, герцогов Курляндских, семидесятилетний Фердинанд, нерешительный и трусливый, не любимый народом, неспособный к управлению и постыдно бежавший с поля сражения во время Полтавской битвы, где должен был находиться в рядах шведских союзников. Он не хотел явиться в Митаву, жил, ничего не делая, в Данциге и предоставил своё герцогство управлению совета оберратов. На самом же деле Курляндию управлял резидент русского государя Пётр Михайлович Бестужев, присланный в Митаву в качестве гофмаршала вдовствующей герцогини Курляндской.

Анна Иоанновна не могла не чувствовать, что она в Митаве – второстепенное лицо, и что все знаки внешнего почёта и уважения, которые оказывались ей, служат лишь для того, чтобы исключить её из митавского общества, веселившегося по-своему и недружелюбно относившегося к ней. Немцы-курляндцы, видимо, не любили бывшей русской царевны, иноземки, почти насильно посаженной им в герцогини; русские же составляли свой кружок, в котором на первом месте была

молодая, весёлая и хорошенькая дочь Бестужева, пользовавшегося обаянием действительной власти и силы. Таким образом, положение герцогини только уединяло Анну Иоанновну, связывало правилами этикета и лишало возможности жить так, как хотелось ей, то есть пользоваться наравне с другими жизнью в своё удовольствие. Она пробовала собирать у себя гостей. Они являлись аккуратно в назначенный час, но держали себя чопорно и натянуто, почти не скрывая своей скуки, уничтожить которую Анна Иоанновна положительно не умела. Кроме самого давящего тоскливого воспоминания – ничего не оставалось ни у гостей, ни у хозяйки от этих сборищ. К себе на празднества Анны Иоанновны никто не приглашал, под тем предлогом, что она – "герцогиня" и ждать от неё чести посещения не смеют; правда, все отлично знали, что она с восторгом явилась бы на какое угодно приглашение, но знали также, что, явившись, она принесёт вместе с собою скуку и натянутость. Оставался один дом Бестужева, куда Анна Иоанновна и ездила, но и тут всегда на первом месте была Аграфена Петровна.

Ко всему этому у Анны Иоанновны, обязанной содержать особый ливрейный штат, повара, лошадей, которых она очень любила и которых у неё не было очень много, и, наконец, поддерживать старый замок, – просто не хватало денег на то, чтобы "себя платьем, бельём, кружевами и по возможности алмазами не только по своей чести, но и против прежних вдовствующих герцогинь курляндских достаточно содержать", как писала она дяде Петру, горько жалуясь на свою судьбу.

Но Пётр Великий оставался непреклонен к слабостям женского сердца и не находил нужным потакать им своею щедростью. Даже известие о том, что "партикулярные шляхетские жёны в Митаве ювелы и прочие уборы имеют неубогие, из чего герцогине, при её недостатках, не бесподозрительно есть", не тронуло его.

На другой день после вечера у Бестужева, где Анна Иоанновна была в простом, надёванном уже платье и где белый шёлковый наряд Аграфены Петровны блистал и свежестью, и богатством, она стояла у окна своего

замка, грустно облокотившись на растворённую цветную раму. Из этого узенького окна виднелась аллея сада, и несло ароматное тепло летнего утра, нежно и приятно вливавшегося в грудь под сырыми сводами неприветливых каменных стен.

Проснувшись зелень, как бы расправляя свои умытые росой листья, тихо шевелилась на тёплом утреннем ветерке, трава нежилась и радовалась только что поднявшемуся солнцу, и птицы переговаривались неумолкавшим, весёлым чиликаньем.

"Да, всё живёт, всё радуется, – думала Анна Иоанновна, – а я тут одна, словно заживо погребённая".

И ей невольно вспомнились подвальные склепы замка, где в величавых каменных гробницах лежали похороненные потомки Кетлеров, и куда она как-то ходила от нечего делать посмотреть из любопытства, после чего не могла спать спокойно несколько ночей.

Чтобы отогнать эту грустную мысль, она стала думать о своём детстве, об Измайлове, где было так хорошо и весело, где были тоже каменные хоромы, но приветные, уютные, с церквами и золотыми куполами, полные с утра до ночи народом. Матушка, царица Прасковья, любила "Божьих людей", юродивых и странников, которые всегда находили приют в её доме и умели рассказывать такие чудесные, волшебные и занимательные истории. Один из юродивых, подьячий Тимофей Архипович, замысловатыми выражениями и намёками предрекал царевне Анне то, что было ясно из действий вчерашнего кудесника. Это уже не было ей внове. Ещё в детстве она с матерью ездила в Суздаль, и там митрополит Илларион тоже предсказывал ей скипетр и корону. Анна Иоанновна то верила в счастье своей судьбы и безотчётно надеялась на что-то, то вдруг чувствовала сильную боязнь к грозному дяде и спешила уверить себя, что она уже получила то, чего ей предсказано, что у неё есть уже герцогская корона и что она должна жить в Митаве и скучать, заживо погребённая. Эта мысль казалась ей всегда особенно жалостливою, и она не могла сдержать навёртывавшиеся на её глаза слёзы.

В это время в саду хрустнул песок дорожки, и Анна Иоанновна отстранилась от окна.

По саду шёл, опустив голову, с маленькой книжкой в руках, Никита Фёдорович, и в нём герцогиня сейчас же узнала того князя, которому вчера вместе с нею кудесник предсказал странную судьбу. Он, очевидно, был так далёк от всего окружающего, что, сам того не замечая, зашёл в ту часть сада, где никто из живущих в замке обыкновенно не гулял.

Но Анна Иоанновна рада была видеть живого человека. Волконский ещё вчера вечером, когда стоял, смущённый общим вниманием, понравился ей, и ей захотелось теперь просто поговорить с ним так, как вот он есть, случайно застигнутый посреди своих мыслей.

– Читаете? – спросила она, опираясь на подоконник.

Волконский вздрогнул, огляделся кругом и, увидев в окне Анну Иоанновну, быстро закрыл книгу, а затем с глубоким поклоном ответил:

– Герцогиня!

Он весь как-то в одну минуту подтянулся и из настоящего, живого человека, каким видела его за минуту пред тем Анна Иоанновна, сделался вдруг безжизненно деревянным, похожим на всех, кто обыкновенно разговаривал с нею в этой ненавистой Митаве.

– Господи! Да чего тут герцогиня! – заговорила она. – Разве я не такой же человек, как и все, разве со мною уж и поговорить просто нельзя?

Волконский стоял, почтительно склонясь, и слушал.

– Ну, чего вам-то тут? – продолжала Анна Иоанновна. – Вы – человек приезжий, кажется, можете и не стесняться.

– Простите, ваша светлость, я попал сюда совершенно случайно, – ответил Волконский, думая, что Анна Иоанновна намекает на его бесцеремонность, с которой он подошёл под самые окна герцогини.

– Не про то я, – перебила она, – напротив, что ж, что подошли?.. Утро-то какое чудесное, а? – вдруг спросила Анна Иоанновна, видимо, желая завязать разговор.

Никита Фёдорович постарался выразить всем лицом и новым поклоном, что вполне разделяет это мнение.

"Ну, вот и этот, как и прочие!" – мелькнуло у Анны Иоанновны, и ей снова сделалось грустно и скучно.

Она замолчала, задумавшись и смотря куда-то вдаль поверх головы Никиты Фёдоровича, а он воспользовался этой минутой, чтобы откланяться и уйти от их неловкого разговора, который почему-то был ему неприятен.

Анна Иоанновна поднялась от окна.

– С кем это разговаривать изволили, ваша светлость? – послышался над её ухом строгий голос Бестужева, входившего обыкновенно без доклада.

Анна Иоанновна наморщила лоб, и лицо её приняло страдальческое выражение.

– С кем говорить-то мне? – вдруг, возвышая голос, воскликнула она. – Сижу здесь взаперти, и в окошко нельзя мне теперь выглянуть...

– Нет, я только думал... – начал было Бестужев, поднимаясь на цыпочки и стараясь заглянуть в окно.

– Я вот что скажу тебе, Пётр Михайлович, – резко перебила его Анна Иоанновна, – я больше не могу так!.. Это с ума сойти можно. Просто возьму, да и уйду в Москву. Что же это в самом деле? День-деньской одна сидишь, делать нечего, никого не видишь, такая тоска возьмёт...

– Что же делать, ваша светлость: положение герцогини заставляет иногда... – попытался возразить Бестужев.

– Эта "герцогиня"! – крикнула Анна Иоанновна, гневно сверкнув глазами. – Вот уж она мне где! – и она показала себе на горло.

Бестужев видел, что Анна Иоанновна рассержена не на шутку. В такие минуты она никогда не помнила себя и, выйдя из терпения, могла наделать каких-нибудь хлопот, вздумав, пожалуй, в самом деле уехать, не спросившись государя, в Москву. Нужно было чем-нибудь успокоить её.

– А я шёл к вам вовсе не для того, чтобы рассердить вашу светлость, – помолчав, мягко заговорил он. – Напротив, я думал предложить вам устроить охоту, если будет угодно.

Анна Иоанновна так и расцвела вся. Охота была любимым её удовольствием.

– Что ж, я рада, – сказала она, уже жалея о своей вспышке, казавшейся ей теперь даже беспричинною. – Только какая же теперь может быть охота?.. Охоте не время теперь, – добавила она снова изменившимся голосом.

– Охота самая необыкновенная. Видите ли, все должны быть верхами, а один из участников выбирается зверем, и должен скрыться от остальных. Его ищут, гонятся за ним, и тот, кто поймает, получает приз, – стал рассказывать Бестужев, вспоминая тут же пришедшую ему в голову новую затею своей дочери, которую та хотела привести на днях в исполнение.

– Ловко придумано! – обрадовалась Анна Иоанновна. – Когда же это будет? Нужно поскорее, Пётр Михайлович.

– Когда ваша светлость прикажет, – ответил Бестужев, – я велю приготовить лошадей.

– Нет, насчёт лошадей я уж сама распорядюсь... Да, вот что: вели пригласить на эту охоту тоже Волконского, что был вчера у тебя.

Бестужев внимательно посмотрел на неё.

– Ведь чем больше народа, тем лучше, – пояснила Анна Иоанновна, кивком головы показывая гофмаршалу, что он может удалиться.

Волконский всё это утро думал о вчерашнем вечере, о Бестужевой, и о том, как она смотрела на него, когда кудесник делал своё предсказание. Он никак не мог ожидать, что именно к нему будет относиться самое важное предсказание и что именно его судьба станет самой интересною, и это предсказание заняло его.

От Черемзина он узнал, что кудесник остановился у пастора лютеранской церкви. Он скоро нашёл маленький домик, мимо которого всегда приходилось ходить из замка в город, и который стоял недалеко от церкви, на берегу реки, почти у самого моста, одним боком выдававшись из высокой каменной стены, закрытой каким-то густым ползучим растением. К пастору можно было попасть, только войдя с другого конца улицы в церковную ограду и миновав церковный сад. Церковь была окружена тёмными ветвистыми старыми деревьями, среди

которых шла довольно широкая аллея, и в конце её виднелась стена пасторского сада с небольшою железною дверцей. Ветви были очень густы, и солнечные лучи лишь изредка пробивались сквозь них, прорезывая сырой полумрак тени и кладя кое-где светлые пятна на влажную, тёмную дорожку аллеи.

Когда Никита Фёдорович входил с одного конца, на другом отворилась маленькая дверца, и в её четырёхугольнике, вдруг осветившемся солнцем, заливавшим своими лучами садик пастора, как в рамке, показались две женские фигуры с кланявшимся пастором, который, прощаясь, провожал их. Волконский не столько глазами, сколько всем существом своим узнал Аграфену Петровну. Она смело шла к нему навстречу, сделав несколько шагов вперёд, узнала в свою очередь князя Никиту.

Она, видимо, смутилась – и тем, что он застал её здесь, и тем, что они встретились случайно, и тем, наконец, что он может заметить её смущение: Как ни странно было для неё это чувство, которое она, всегда уверенная в себе, редко испытывала, но ей не было неприятно, что этот мало знакомый ей человек видит её смущённою.

С первого же взгляда на Никиту Фёдоровича, с восторгом смотревшего на неё, она поняла, что он любит её так, как она есть, любит даже самым смущением, которое для него так же прекрасно в ней, как и всё остальное. И она не только простила его за то, что смутилась пред ним, но и почувствовала, что он в эту минуту не так ей чужд, как все остальные, точно всё это было уже раз пред нею: и эта тёмная аллея с высокими деревьями, и эти пробившиеся сквозь листву лучи и, главное, этот сырой запах вековых древесных стволов, смешанный с благоуханием жасмина.

– Вы к нему? – спросила Бестужева, первая овладев собою и кивком головы показывая на калитку.

– Да, к немцу, – чуть слышно проговорил Никита Фёдорович, уже испытывая в себе лёгкость и волнение, которые всегда охватывали его, точно выросшие и готовые распусться крылья, когда он смотрел на эту

девушку или думал о ней.

– Уехал, сегодня утром уехал, – с улыбкой ответила ему Бестужева и прошла мимо.

Больше они ничего словами не сказали друг другу, но Никита Фёдорович чувствовал, что после этой встречи они стали точно более близки и что эта случайность не пройдёт бесследно.

Пастор подтвердил ему, что доктор действительно сегодня рано утром уехал из Митавы и не пожелал сообщить, куда именно; но Волконский уже не жалел, что не мог говорить с чёрным доктором.

IV ОХОТА

Анна Иоанновна сама распоряжалась приготовлением к потешной охоте, которая была назначена в её загородном доме близ Митавы, в Вирцау. Затея очень понравилась ей, и каждый день она заставляла делать выводку лошадей у себя на конюшне, выбирая и распределяя их для участников потехи. За день до охоты она уехала в Вирцау и ночевала там. Гости должны были съехаться к десяти часам утра. Верховые лошади герцогини были приведены туда заранее.

Черемзин с Волконским явились в экипаже в Вирцау раньше других; но почти сейчас вслед за ними приехали несколько немецких баронов, которые, вежливо раскланявшись, пошли в конюшню осматривать лошадей. Затем прискакали верхом драгунские офицеры; потом, в тяжёлой золочёной колымаге с гайдуком на запятках, приехал Бестужев.

Никита Фёдорович думал, что с гофмаршалом приедет его дочь и радовался своим ожиданиям; но теперь у него невольно явилось сомнение, приедет ли она вообще, и всё ему перестало здесь нравиться. Подойти и спросить у Бестужева о его дочери он, разумеется, не решался.

Все эти дни погода стояла чудесная, и сегодня тоже небо было безоблачно и ясно. Молодые люди, блестя на солнце своими расшитыми кафтанами и галунами на шляпах, ходили в ожидании герцогини по небольшой площадке пред домом. Анна Иоанновна долго не выходила.

Бестужев несколько раз вглядывался в даль дороги, держа руку над глазами от солнца, и затем беспокойно прохаживался по крыльцу.

– Кого же мы ждём? – спросил князь Никита Фёдорович у Черемзина.

– Как кого?.. Герцогиню! – ответил тот, недовольно пожимая плечами.

Анна Иоанновна вышла на крыльцо сияющая и довольная в длинном ярком платье, шлейф которого нёс маленький паж. Ей подвели стройную, красивую лошадь под чепраком, с гербами курляндских герцогов.

Бестужев тоже сел верхом.

"И очень нужно по этакой жаре без толку слоняться!" – рассуждал Волконский, забирая за загривок лошадь и поднимая ногу в стремя. – И чего, право, не выдумают!.. А вот возьму, да и уеду!" – решил он, попав в стремя, и быстро вскочил на нетерпеливую, не стоявшую спокойно на месте лошадь.

Толпа охотников, с Анной Иоанновной впереди, шагом выехала на дорогу. Изо всех лиц улыбающимся было только одно – лицо самой герцогини. Все остальные сидели насупившись и морщились от лучей прямо бившего им в глаза солнца.

Так молча проехали некоторое время. Нужно было, наконец, что-нибудь предпринять – свернуть с дороги, что ли, а то, продолжая так, можно было доехать до самой Митавы. Анна Иоанновна почувствовала это. Но, видимо, никто не хотел помочь ей; все были готовы исполнять только её приказания, а что и как приказать – она положительно не умела.

"Вот эта Бестужева, наверное, знала бы, что теперь делать, – не без зависти подумала герцогиня. – И что они находят в ней, право? Худа – и больше ничего", – рассуждала она про безмолвно едущих за нею теперь молодых людей.

Действительно, они и сами не могли понять, почему, когда пред той же толпой их, как сегодня, бывала в другие дни Бестужева, – всё было иначе, являлись откуда-то и веселье, и смех. Бестужева при этом ничего, казалось, не делала, чтобы вызвать такое настроение. Анна же Иоанновна, напротив, всеми силами старалась – и ничего из этого не выходило...

– Ну, что ж, пожалуй, свернуть можно? – спросила Анна Иоанновна, оборачиваясь к Бестужеву.

– Уж как это угодно вашей светлости, – ответил тот.

– Да мне угодно только, чтобы весело было; вы скажите как, нужно теперь свернуть, что ли?

– А вот, кажется, дочь моя едет – она покажет, – сказал Бестужев, смотря на дорогу, где уже белело облако пыли, в которое давно жадными глазами впился Никита Фёдорович.

При имени Бестужевой Анна Иоанновна вдруг решительно повернула лошадь и, как будто сама зная, что ей делать, крупною рысью поехала прямо в поле. Там, на дороге, где ехала Бестужева, также окружённая охотниками, заметили это движение. Но Аграфена Петровна вместо того, чтобы погнать свою лошадь шибче, напротив, придержала её и поехала шагом, свернув, однако, тоже в поле.

Анна Иоанновна, отскакав от дороги на довольно большое пространство, остановилась. Она видела, что Бестужева, нарочно не спеша, шагом приближается к ним, и ей хотелось во что бы то ни стало начать "охоту" раньше того, как она подъедет.

– Ну, господа, как же, кто же будет зверем, а? – спросила она, любезно улыбаясь и нетерпеливо поворачиваясь в седле. – Да ну же, скорее начинайте!.. – чуть не умоляя, добавила она.

Но никто не выказывал особенной торопливости. Видимо было, что никто не двинется, пока не подъедет Аграфена Петровна, которая, точно нарочно, дразня и рисуясь, подвигалась особенно медленно, придержав ещё свою лошадь и бережно объезжая каждую кочку.

"Милушка!" – чуть не вырвалось у Никиты Фёдоровича навстречу ей.

Наконец её большая серая лошадь мерным, красивым шагом, особенно ловко округляя передние ноги, подошла почти вплоть к лошади герцогини.

С появлением Бестужевой все лица оживились.

– Добрый день, ваша светлость! – обратилась она по-немецки к Анне Иоанновне с тою улыбкой, чарующее впечатление которой она знала.

И действительно, эта улыбка способна была примирить с нею всякого. Анна Иоанновна не могла не чувствовать, что теперь будет непременно весело, потому что у этой безжизненной толпы вдруг явилась душа, и толпа проснулась. Общее оживление невольно передалось Анне Иоанновне, и в ней незаметно растаяло всякое неудовольствие против Бестужевой.

– Аграфена Петровна, – обратилась она к ней, – ну, как же начать?

Бестужева обвела глазами охотников. Среди них особенно выделялся своим самодовольным бело-розовым лицом откормленный, гладенький немчик, сын старшего оберрата, взгромоздившийся на огромную лошадь, вовсе не соответствовавшую его маленькому, пухлому тельцу.

– Ну, барон, выезжайте! – предложила ему Аграфена Петровна.

Барон храбро дал шпоры своему коню и выдвинулся, стараясь пробраться между нетерпеливо топтавшимися на месте лошадьми.

– Да не так... Туда, в поле! – пояснила Бестужева, протягивая руку вперёд и указывая в пространство. – Мы будем считать до ста, в это время вы можете уехать куда угодно, а затем мы поскачем за вами. Ну, Черемзин, считайте! – приказала она.

Барон ещё раз дал шпоры, его огромный конь, видимо, не желая отделяться от других лошадей, перебрал ногами и стал пятиться.

– Раз, два... – начал Черемзин.

– Пойдите, погодите, ещё не время, я ещё не начал, – забеспокоился барон, едва охватывая своими коротенькими ногами крутые бока лошади, которая трясла головою и продолжала пятиться.

– Одиннадцать, двенадцать, – неумолимо продолжал Черемзин.

Барон отчаянно замахал рукою и что было силы ударил коня хлыстом. Тот вдруг рванулся вперёд и поскакал по полю сломя голову.

Кругом все засмеялись. Барон нёсся, растопыря ноги и откинувшись назад, точно повис на поводьях... Его шляпа с огромным пером свалилась назад и трепалась на ремешке, сползшем со щёк барона. Проскакав таким образом, лошадь круто остановилась, и барон перекинулся на её шею, которую невольно охватил руками, чтобы не полететь через голову

лошади.

Черемзин в это время дошёл уже до шестидесяти.

Фигура барона была очень смешна, в особенности с той стороны, с которой глядели на него остальные. Огромный конь, почувствовав, должно быть, нетвёрдость своего седока, поддал задними ногами, и барон ещё крепче припал к его шее, не обращая внимания на то впечатление, которое он производит.

– Девяносто восемь, девяносто девять, – считал Черемзин, – сто! – наконец крикнул он.

Несколько лошадей кинулись по направлению несчастного барона, бившегося на своей лошади посреди поля.

Бестужева сделала только вид, что кинулась вместе с другими, но на самом деле осталась сзади. Она заметила, что несколько молодых людей, между которыми был Волконский, сделали то же самое.

Анна Иоанновна первая настигла барона и получила первый приз.

Лошади только разгорячились этой короткой скачкой. Никто, разумеется, не имел ещё времени устать, напротив, каждому казалось, что он может хоть целый день провести, не слезая с лошади. У барона пошла кровь из носа, который он, очевидно, разбил, когда наткнулся на шею своего коня, но и барон старался оправиться и всеми силами желал показать, что это ему ничего.

После барона в качестве зверя выехал Черемзин. Он не торопясь отделился от охотников, спокойно выждал момента, когда они поскакали, и, подпустив их довольно близко к себе, внезапно отскочил в сторону, а затем, сделав большой круг по полю, поддался герцогине. Всё это было исполнено красиво и весело.

Бестужева всё время ездил, сберегая силы своей лошади. Она отлично видела, что Черемзин поддался герцогине и прежде других остановилась на небольшом холмике, как бы осматривая местность. Мало-помалу все начали подъезжать к ней.

Они все незаметно приблизились теперь к небольшому леску, который прежде только синел пред ними тонкою полоской вдали от дороги.

– Не пора ли обедать, ваша светлость? – подъезжая крупною рысью, спросил у герцогини Бестужев, не участвовавший в скачках и лишь степенно наблюдавший за ними.

– Ах, нет ещё, погоди, Пётр Михайлович! – ответила Анна Иоанновна, блестя разгоревшимися глазами.

– Ну, а кто поймает меня? – вдруг крикнула Аграфена Петровна, и, прежде чем кто-нибудь успел опомниться, она была уже у опушки леса, перепрыгнула какую-то канаву и исчезла в зелени деревьев.

– Куда ты... сумасшедшая! – мог только крикнуть отец ей вслед.

Никита Фёдорович вместе с другими, не помня себя, кинулся за Бестужевой.

Они быстро миновали пространство, отделявшее их от леса, и Волконский, к своему удовольствию, чувствовал, что его лошадь ещё совершенно свежа и легко перепрыгнула канаву у леса. Пригибаясь к седлу, чтобы ветви не мешали ему, он поехал между деревьями, стараясь разглядеть след лошади Аграфены Петровны, и с ужасом замечал, что это невозможно и что он теряется в чаще похожих друг на друга стволов леса. Он огляделся кругом. Остальных охотников уже не было видно. Только направо и налево слышалось хрустение веток и валежника, ломавшегося под ногами их лошадей. Волконский остановился. Мало-помалу треск валежника стал слабее и, наконец, вовсе замолк. Очевидно, все разъехались, сдержав лошадей, потому что бесцельная скачка была не нужна и опасна. Князь Никита поехал вперёд наугад. Он долго пробирался между деревьями, не зная направления и не отдавая себе отчёта, едет он вперёд или назад и сколько времени прошло с тех пор, как они въехали в лес.

"Нет, – соображал он, – верно, я свернул с дороги, потому что иначе встретил бы кого-нибудь... Боже мой!.."

И сердце его сжалось при мысли, что кто-нибудь другой настигнет её и что, может быть, теперь она уже настигнута, и охота кончена, и все, забыв о нём, собрались где-нибудь и завидуют охотнику, которому улыбнулось сегодня счастье. Дыхание у него сжалось, и сердце забилося

– неужели кто-нибудь другой, не он, будет сегодня победителем? И, ударив лошадь, он поскакал вперёд.

Лес, сначала частый, начал редеть, и скоро между стволов показались просветы.

"Так и есть! – с отчаянием подумал Волконский, – это – опушка; я вернулся назад, опять к тому месту, откуда мы поехали..."

Но вдруг признак надежды вдохнул в него новую силу. Он ясно услышал фырканье чьей-то лошади и тяжёлую неровную поступь копыт.

"А вдруг это – о н а?" – мелькнуло у Волконского, но тут же, по биению своего сердца, он решил, что это не может быть Бестужева.

Он выехал не на опушку, как ему показалось сначала, но на довольно широкую лесную полянку, где пред большим корявым пнём топталась на одном месте огромная лошадь барона, напрасно силившегося одолеть её упорство.

– Наконец-то кто-нибудь! – радостно крикнул барон, – теперь ничего, она пойдёт за другой лошастью... Погодите меня!

Но Волконский быстро повернул назад и что было сил всадил шпоры в бока своей лошади; та понеслась. Однако он слышал, что барон скачет за ним, становится всё ближе и ближе к нему, и теперь все его мысли и всё меньше были направлены к тому, чтобы отделаться во что бы то ни стало от этого смешного немца.

Никита Фёдорович летел стремглав, перепрыгивая сваленные стволы, рытвины и не обращая внимания на хлеставшие его ветки. Барон отстал от него, а он, не помня ничего, так как вдруг решил, что теперь для него уже всё пропало, всё-таки нёсся вперёд, с мучительной тоскою повторяя себе:

"А как всё это могло быть хорошо сегодня!"

И вдруг посреди этой бешеной скачки его лошадь вынесла снова на поляну. Тут, скрестив на груди руки и высоко закинув голову, одна, ещё не настигнутая никем, стояла Бестужева.

Никита Фёдорович, не веря своим глазам, бросился к ней.

"А, это – вы, князь!.." – как бы сказала она всем своим движением и,

ударив лошадь, кинулась в сторону.

Догнать теперь её составляло жизнь или смерть для князя Никиты.

Аграфена Петровна, как бы щеголяя своим умением держаться на лошади и, видимо, будучи отлично знакома с местностью, неслась впереди, заставляя Волконского делать безумные скачки и повороты. Но он, готовый лучше зарезать лошадь или лишиться жизни, чем отстать, гнался с настойчивым, отчаянным упорством и надеждой. Несколько раз он почти настигал Аграфену Петровну, но не было места объехать её, и он волей-неволей должен был оставаться сзади. Наконец, замучив своих взмыленных лошадей, они приблизились к опушке. Никита Фёдорович безжалостно посылал и хлыстом и шпорами свою лошадь. Но вот она сделала, казалось, последнее страшное усилие – и Волконский увидел, что он уже скачет рядом с Аграфеной Петровной, что, протянув руку, он может достать удила её лошади. Он нагнулся вперёд и действительно схватил под уздцы лошадь Бестужевой. Аграфена Петровна не ожидала этого и покачнулась в седле. Князь должен был обхватить её свободною рукою, чтобы она не упала. Это движение было совершенно невольным. Лошади сделали ещё несколько скачков и, измученные, готовы были остановиться. Как это случилось – Волконский не помнил, но забыв о том, что он делает, и не владея собой, он в опьянении счастья прикоснулся губами к горячей щеке Аграфены Петровны.

Девушка вздрогнула и рванулась от него. Он не удерживал. Лошади пошли шагом.

Аграфена Петровна ехала молча, низко опустив голову и кусая губы.

"Всё пропало! – думал Волконский. – Боже мой, Боже мой, что я наделал!.."

Насупив брови и не сказав ему ни слова, Бестужева приблизилась, наконец, к разбитому в поле шатру, у которого давно гудел звонкий рог доезжачего [5], сзывая участников охоты.

Волконский слез с лошади и едва устоял на ногах. Колена его дрожали, и руки тряслись. Должно быть, он был очень бледен, потому что Черемзин с беспокойством подошёл к нему и советовал выпить вина.

– Не надо, – слабым, безнадежным голосом ответил Волконский, – теперь ничего не надо.

– Да что с тобою? – настаивал Черемзин. – Тебе нездоровится?.. Ты, верно, слишком устал... Тебе бы вина, – предлагал он.

Никита Фёдорович почти бессознательно поймал только одно слово "вина" и невольно зацепился за него мыслями, придав ему своё, совершенно иное значение.

"Виноват, сам виноват!.." – повторял он себе.

У шатра был разостлан большой ковёр, уставленный посередине яствами и питьём. Здесь все весело расположились, чувствуя большое удовольствие хорошо поесть, проведя столько времени на вольном воздухе и верхом. День выдался очень удачный. Веселье было полное.

Один Никита Фёдорович сидел, ни к чему не притрагиваясь. Он был чужд этой весёлой толпе. Сегодня он испытал мимолётно слишком большое, незаслуженное, украденное, как думал он, счастье, чтобы теперь радоваться какому-то пустому и мелкому веселью. Правда, его дерзость никогда не будет прощена и навеки унесла всякую надежду, и теперь ничто не может быть ему радостно... И ему вдруг показалось невыносимо оставаться в этой равнодушной, глупой и совершенно чуждой ему толпе, имеющей силы веселиться и смеяться после того, что случилось с ним. Он почувствовал неудержимую частую дрожь в правой щеке, и, как молния, по его лицу пробежала нервная судорога.

"Что с ним?" – мелькнуло у Бестужевой.

– Князь Никита, – быстро сказала она, подняв тонкой, маленькой рукою хрустальный стакан, – подайте мне мёда – вон того красного, что стоит возле вас.

И жизнь вернулась в душу Волконского. Он встал, задыхаясь от нового нахлынувшего на него счастья, подошёл к ней и дрожащею рукой наклонил над её стаканом большой кувшин с мёдом.

– Что с вами? – укоризненным шёпотом спросила Бестужева. – Это ни на что не похоже!

Кругом стояли говор и смех. Никто, казалось, не обращал на них

внимания.

Волконский вернулся на своё место совсем преобразившийся, сияющий. "Что с вами? Это ни на что не похоже", – безостановочно твердил он себе, думая, что сходит с ума от радости, глядел теперь на всех добрыми, ясными глазами, и их смех и веселье, казавшиеся ему за минуту пред тем ненавистными, теперь были для него дороги, милы.

Анна Иоанновна слышала, как Бестужева подозвала к себе Волконского – того самого Волконского, который так ещё недавно там, у окна замка, спешил отделаться от её разговора, – видела, как он подошёл к Аграфене Петровне, и заметила перемену в нём после того, как та что-то тихо сказала ему.

"Ишь, одним словом ошастливила человека!" – подумала Анна Иоанновна, и дурное чувство к Бестужевой снова вспыхнуло в ней.

– Принесите мне накидку, я забыла её в шатре, – резко и громко сказала она по-немецки, обращаясь к Аграфене Петровне.

При этом смелом и неожиданном приказании, которое не могли не слышать все, всем как-то сделалось неловко, и гул разговоров внезапно затих.

Бестужева изменилась в лице, – никогда ещё ничего подобного не случалось. Её отец удивлённо поднял голову, точно не веря своим ушам; но Анна Иоанновна, как бы равнодушно смотря вдаль, видимо, настойчиво ждала исполнения своего приказания.

Старик Бестужев встал, чтобы пойти вместо дочери за накидкой.

– Когда герцогиня приказывает, – вдруг ещё резче произнесла Анна Иоанновна, – нужно немедленно исполнять её приказание. Аграфена Петровна, слышали?

Бестужева, бледнея и дрожа, подняла голову. Её отец в ужасе сжал себе виски руками и закрыл глаза. Остальные потупились, ожидая, что произойдёт сейчас неудержимая вспышка Аграфены Петровны. Но она, сделав над собой усилие и чуть слышно прошептав: "А-а, если так..." – медленно встала со своего места, вошла в шатёр и вернулась оттуда с накидкой.

Прежнее веселье как рукой сняло. Сидели недолго и молча; герцогиня велела подавать лошадей. "Охота" кончилась.

V БЕСТУЖЕВА

Аграфена Петровна вернулась в Митаву вместе с отцом и дома с нею сделался нервный припадок.

Пётр Михайлович серьёзно забеспокоился о здоровье дочери. Однако она даже без помощи доктора сама оправилась, но прежняя весёлость не вернулась к ней. Она ходила с серьёзным, сосредоточенным лицом, на котором так и застыло появившееся выражение затаённой обиды, когда она встала на охоте за накидкой герцогини со словами: "А-а! если так..." Бестужев внимательно следил за нею и, зная её характер, был очень встревожен её душевным состоянием. Оставалось не больше недели до 29-го июня – дня именин не только самого Петра Михайловича, но главное – государя. Этот день обыкновенно праздновался у Бестужева с подобающей роскошью. По своему положению в Митаве, он должен был делать приёмы в высокаторжественных случаях, а именины государя были, безусловно, одним из таких случаев. В этом году, как и прежде, он хотел устроить у себя бал, но боялся, как бы нездоровье дочери не помешало этому. Пригласить на бал герцогиню было необходимо, но после оскорбления на охоте Аграфена Петровна, вероятно, постарается избежать всякой встречи с нею и ради этого, может быть, нарочно скажется больною. Бестужев положительно терялся. Сделать бал без хозяйки, так, чтобы Аграфена Петровна не выходила к гостям, – ему казалось неловко; а главное – он знал, что тогда всем будет скучно, о гостях придётся заботиться ему самому, и он не будет иметь времени для кое-каких разговоров с нужными, важными в Митаве людьми, которые съедутся к нему. Если же вовсе не сделать бала – выйдут большие неприятности, потому что об этом, наверное, донесут в Петербург, и государь может остаться недоволен.

Пётр Михайлович решил поговорить с дочерью.

Он пришёл к ней, в её маленькую гостиную и застал Аграфену Петровну с покрытою тёплым платком головою.

– У меня страшно голова болит, – начала она, – просто места не найду...

– Я же предлагал тебе послать за доктором, – сказал Бестужев, опускаясь на кресло. – А мне очень нужно, чтобы ты здорова была, – быстро добавил он, заметив нетерпеливое движение дочери при упоминании о докторе. Она вопросительно взглянула на отца.

– Петров день близко, – пояснил он, – наш ежегодный бал не может состояться без тебя; нужно, чтобы ты была здорова...

– Я и буду здорова! – несколько удивлённо ответила Аграфена Петровна, – будьте покойны; напротив, мне нужно теперь какое-нибудь развлечение...

– Ну, вот и прекрасно! – я уверен, что ты будешь веселиться... гостей будет много. Само собою разумеется, нужно пригласить в с е х.

Бестужев нарочно подчеркнул слово "всех". Аграфена Петровна как будто не поняла.

– Ну, конечно! – подтвердила она.

– Оберратов с жёнами, баронские семьи, бургомистра, наших офицеров, герцогиню, – перечислял Бестужев, внимательно косясь на дочь.

Она с улыбкой кивала головою в подтверждение его слов.

У Петра Михайловича отлегло от сердца.

– Значит, тебе не претит снова встретиться с Анной Иоанновной? – недоверчиво спросил он, не скрывая, однако, своего удовольствия.

– Разумеется, не претит! Что ж я могу против г е р ц о г и н и? – подчеркнула в свою очередь Бестужева. – Нам, конечно, не приходится с нею ссориться, раз мы тут на холопском положении.

– Перестань, Аграфена! – остановил её отец.

– Да ведь я согласна на всё, чего же вы хотите больше?.. Устраивайте бал, я развлекусь, мне всё равно – пусть тут все будут, я согласна...

– Ну, хорошо, хорошо! А какое же платье ты наденешь на бал? Сшей новое... Если нужно денег – возьми, сколько хочешь, – предложил Бестужев, желая баловством вознаградить дочь за её покорность.

– Я уже подумала об этом, – улыбнулась она. – У меня есть всё, платье я устрою себе; а вот если хотите сделать мне удовольствие...

– Господи! Да всё, что хочешь... спроси только!

– Дайте мне денег на материю для этой мебели: её нужно обтянуть заново, посмотрите, как она обтрепалась.

Бестужев оглядел комнату. Мебель действительно показалась ему очень потёртою, и он удивился, как не замечал этого раньше.

– Ну, что ж, я сегодня велю управляющему, чтобы он пришёл к тебе за приказанием, – сказал Пётр Михайлович, вставая, и, простившись с дочерью, тотчас отправился в замок приглашать герцогиню на бал.

Едва успел уйти Пётр Михайлович из гостиной дочери, как она позвала к себе молоденькую немку, горничную Розу, которая была всегда доверенным её лицом и исполнительницей всех приказаний.

– У нас будет скоро бал, Роза, – сказала Бестужева.

– Это очень весело... и госпожа будет веселиться, – ответила та, приседая.

– Вы мне нужны будете для одного дела, Роза.

– Я всегда к услугам моей госпожи.

– Вот что: мне необходимо знать, в каком платье будет герцогиня у нас на балу, и вы это можете узнать мне, я думаю?

– Это – не мудрёное дело, – рассмеялась Роза, – это очень легко узнать; у нас есть близкие приятельницы в штате герцогини... Госпожа может быть покойна.

Аграфена Петровна действительно была покойна; она знала, что на Розу можно вполне положиться.

Отпустив горничную, она задумалась. Недавние события вспомнились ей во всех своих подробностях. И странно, первое место в этих подробностях занимало не унижение, перенесённое ею, не подавленное чувство стыда и горечи, которое, впрочем, далеко ещё не изгладилось, да и не могло изгладиться; нет, на первом месте было воспоминание о Волконском. Его взволнованное лицо, сначала несчастное, потом сияющее, как живое, стояло пред нею.

"Что за глупости! – поморщилась она. – Зачем я думаю об этом?"

И она постаралась заняться подробным обсуждением своего будущего

бального наряда, но вдруг поймала себя на мысли о том, понравится ли её платье князю Никите, и опять задумалась о нём.

А Волконский в это время ходил большими шагами по кабинету Черемзина, круто поворачиваясь по углам на каблуках. Черемзин сидел у стола и улыбался хитрою, дружески-насмешливою улыбкою. Сегодня утром, вернувшись из города, он сказал Никите Фёдоровичу, что теперь только и разговоров, что о недавней "охоте" и, между прочим, о нём, Волконском.

– Я-то тут при чём? – спросил он.

– Веди себя, мой друг, впредь иначе, умей сдерживаться! – наставительно пояснил Черемзин. – Ты думаешь, я не видел вчера истории с кувшином мёда?

– Какой истории с кувшином? – спросил упавшим голосом Волконский, отлично понимая, про что говорит ему.

– Ты знаешь! – ответил Черемзин. – Неужели ты думаешь, никто не заметил, что ты совсем влюблён в Бестужеву?

Эти слова: "влюблён в Бестужеву", до того показались Волконскому низменными и пошлыми в сравнении с тем чувством, которое он испытывал теперь, что кровь с силою прилила ему в голову, и злоба сдавила горло.

– Вздор, неправда! – крикнул он. – Никто не смеет говорить так! По какому праву?

Черемзин пожал плечами.

Волконский несколько раз нервно прошёлся.

– Я повторяю тебе, что это – вздор, – заговорил он более спокойным голосом, – этого не может быть.

– Отчего же не может быть? Напротив, это вполне просто и естественно. Мы все, кажется влюблены тут в неё, только ты, должно быть, серьёзнее других... потому что Аграфена Петровна...

– Ну?.. – перебил Волконский.

– Кажется, сама к тебе очень... расположена, – проговорил Черемзин, как бы подыскивая подходящее выражение.

– Как? И это говорят? – воскликнул Никита Фёдорович, чувствуя, будто пол начинает колыхаться под его ногами, и вся комната вертится.

– Да ведь она ни к кому из нас так не относится...

– Вздор, вздор! – крикнул опять Волконский. – Ничего этого нет... это невозможно.

– Ну, сознайся, голубчик: ты не влюблён?

– Нет.

– И не заметил, что она именно тебя позвала вчера налить ей мёду?

– Нет, не заметил.

– И вполне к ней равнодушен?

Дальше Волконский лгать не мог.

– Да что ж это? Допрос, что ли? – спросил он... – Тебе какое дело?

– А, видишь ли, я должен сообщить тебе одно известие, которое тебе может быть неприятно, если наши предположения справедливы.

– Какое известие? – испугался Никита Фёдорович.

– Да ведь ты говоришь, что это – неправда, значит пугаться нечего.

– Какое же известие? Говори, не тяни, ради Бога!

– Из Петербурга пришёл указ...

– Обо мне? – спросил Волконский, побледнев.

– Да. Велят тебе ехать дальше. Отсюда, должно быть, донесли, что ты здесь загостился вопреки царскому приказанию.

– Господи! – мог только выговорить Никита Фёдорович и закрыл лицо руками.

– Да чего же ты? Ведь даже за твоё ослушание на тебя не сердятся... поезжай! – успокоительным тоном проговорил Черемзин.

Князь Никита только рукою махнул.

– Ну, как же ты не влюблён? Ну, как же? – смеясь, начал опять Черемзин. – Да успокойся! Я лишь поймать тебя хотел; никакого указа нет... всё это я рассказал так только, чтобы ты попался.

Никита Фёдорович отнял руки от лица. Его испуг и ужас были так сильны, что он готов был даже простить теперь Черемзина за то, что тот солгал ему, лишь бы его известие оказалось неправдой.

– Да ты теперь врешь или прежде соврал? – спросил он, едва приходя в себя.

– Прежде, прежде соврал; право, никакого указа нет. Напротив, могу сообщить тебе даже приятную новость: у входа в замок я встретил Бестужева; он приезжал сюда приглашать герцогиню к себе на бал двадцать девятого и позвал тоже меня с тобою. Желая, голубчик, успеха; советую танцевать польский с Аграфеной Петровной, и будь уверен, что я попусту болтать ничего не стану, – заключил Черемзин, подходя к Волконскому и дружески кладя ему руки на плечи.

VI БАЛ

В день бала в доме Бестужева работа кипела с утра. В саду настилали пол для танцев, строили помост для музыкантов и готовили иллюминацию. В залах расставлялись столы для угощений, среди которых должна была появиться модная новинка – лимонад. В маленькой гостиной у Бестужевой стучали молотками и ползали немцы-рабочие, спешившие к сроку околотить мебель новою материей.

– И зачем ты это затеяла? – сердился Пётр Михайлович, приходя к дочери. – Не успеют они.

– Успеют, – успокаивала Аграфена Петровна. Она сидела перед зеркалом, в белом пудермантеле, терпеливо отдав свою голову в распоряжение Розы, которая причёсывала её с помощью служанок.

– А ты не ошиблась, Роза? У герцогини будет платье именно такое, жёлтое?

– Я принесла моей госпоже даже образчик. Госпожа может быть спокойна.

Лицо Аграфены Петровны было весело и по-прежнему оживилось. Она, казалось, так была в духе сегодня, что даже не сердилась на обычную медлительность Розы, с которою та устраивала сложную причёску. Правда, на этот раз причёска ей особенно удавалась и шла лицу Аграфены Петровны.

Роза, как художник, любуясь своим произведением, не торопилась.

Наконец, она вплела поверх высоко взбитых волос Аграфены Петровны несколько крупных зёрен жемчуга, и причёска была готова.

Аграфена Петровна встала. Белая короткая юбка высоко открывала её маленькие ножки, обутые уже по-бальному – в светло-голубые атласные туфельки и такие же шёлковые чулки, присланные ей недавно из Ганновера братом; он же прислал ей светло-голубую материю, лёгкую и мягкую, из которой было сшито сегодня её платье с длинным королевским шлейфом.

Пётр Михайлович уже несколько раз подходил к дверям уборной дочери и торопил её.

– Всё уже готово, – говорил он, – сейчас гости начнут съезжаться, пора.

Аграфена Петровна тем не менее не спешила. Платье уже было надето на ней. Две горничные возились со шнуровкой. Роза осматривала и поправляла складки.

– Настоящая княгиня! – проговорила она, сложив руки и смотря на свою госпожу.

– Что? – переспросила Аграфена Петровна.

– Eine Fürstin, eine Fürstin! [6] – повторила Роза. – Иначе и быть не может.

Аграфена Петровна прищурилась, и самодовольная улыбка скользнула по её тонким губам. Она была довольна и нарядом, и собою, и сегодняшним днём.

Аграфена Петровна прошла через маленькую гостиную, которая теперь была уже заново обита, и направилась в зал, где начинали собираться гости. Она оглядела их и прежде всего заметила, что Волконский ещё не приезжал.

"Зачем я опять вспомнила именно о нём? – подумала она, стараясь отогнать от себя эту мысль. – А всё-таки его нет, – снова настойчиво пришло ей в голову. – Пустяки!" – решила она.

Волконский несколько опаздывал из-за Черемзина, с которым должен был ехать вместе из замка и который одевался слишком долго. Он причёсывался, душился, мазал голову какою-то особенной эссенцией и

до того надоел князю Никите, что тот пригрозил, что уедет один; лишь тогда, наконец, Черемзин оторвался от зеркала.

Бал не начинали до приезда герцогини. Аграфена Петровна с дамами сидела в маленькой гостиной. Мужчины ходили по остальным комнатам в ожидании Анны Иоанновны.

Наконец суетливый дворецкий, ловко пробираясь между гостями, отыскал Петра Михайловича и предупредил его, что на углу показался экипаж герцогини. Бестужев пошёл встречать её на крыльцо.

Через несколько минут Анна Иоанновна в ярко-жёлтом пышном платье, нарочно сшитым для нынешнего дня и стоившем долгих расчётов и выгадываний, любезно отвечая на низкие поклоны расступившихся перед нею гостей, прошла через зал в гостиную, где ждала её Аграфена Петровна, которая, отговорившись болезнью, не пожелала встретить герцогиню у двери.

Бестужева стояла посреди своей маленькой гостиной прямая и гордая, с торжественной улыбкой на губах.

"Боже мой, как хороша!" – подумал про неё Волконский, подойдя к дверям вслед за герцогиней.

Анна Иоанновна вошла в гостиную твёрдою, решительною походкой, чуть потряхивая головою, с выражением: "Я знаю сама, что мне делать".

Аграфена Петровна и другие дамы низко поклонились ей. Она ответила кивком головы, осмотрелась кругом, и какой-то внезапный испуг выразился на её лице. Сначала она вдруг покраснела, потом побледнела, как полотно, и губы её дрогнули. А Бестужева нежным, вкрадчивым голосом говорила ей в это время:

– Милости просим, ваша светлость, не угодно ли сесть, вот кресло, вам здесь будет удобнее.

Роза оправдала доверие госпожи. Образчик, который она достала, был действительно от платья герцогини – и мебель гостиной оказалась обитой точь-в-точь от одного куска, тою же самою ярко-жёлтою материей, из которой было сшито её платье.

Неудержимая насмешка цвела кругом, на лицах всех дам. Столпившиеся

у дверей мужчины тоже едва сдерживали смех, готовый вырваться у них, а в задних рядах смешливый толстенький барон вовсе не мог удержаться и фыркнул. Бестужев стоял бледный, не зная, что ему отвечать. Одна только Аграфена Петровна как будто ничего не замечала и наивно-участливо смотрела на герцогиню, страшно изменившуюся в лице и готовую упасть.

– Воды!.. воды!.. – слышался шёпот кругом. – Герцогине дурно... воды, скорее!

Принесли воду, хотели усадить Анну Иоанновну, но она, несмотря на свою дурноту, сверхъестественным усилием держалась на ногах, не желая сесть в "горевшее, как её платье, словно золото", ярко-жёлтое кресло гостиной. Под руки провели её до кареты, и она вне себя уехала домой, чтобы ни минуты больше не оставаться в доме Бестужева. Аграфена Петровна жестоко отомстила ей.

Едва успела уехать герцогиня, и провожавший её Бестужев не вернулся ещё в зал, как по приказанию молодой хозяйки грянули литавры и трубы, и гости попарно, в предшествии музыкантов, стали спускаться в сад, где должны были происходить танцы на устланной нарочно для этого деревянным полом площадке, украшенной кругом гирляндами, щитами и флагами.

Войдя на площадку, мужчины и дамы разделились. Нужно было выбрать "царицу бала".

– Аграфену Петровну, её, только её! – крикнул Никита Фёдорович, задыхаясь от волнения и блестя глазами, готовый, кажется, тут же уничтожить всякого, кто бы посмел возразить против этого.

– Ну, конечно, – подтвердил Черемзин, – кого же, как не её?

– Да, да, её... Аграфену Петровну! – говорили остальные, и бронзовый золочёный жезл и перчатки – обычные знаки достоинства "царицы бала" – были торжественно поднесены Бестужевой.

В самом деле она, нежная, милая, со своим жемчугом, лежавшим в её волосах в виде короны, выделялась из всех, точно царица.

Она сделала несколько шагов вперёд. Теперь ей следовало выбрать

маршала.

Мужчины длинною вереницей стали подходить к ней. Первым подошёл какой-то немец, очень напыщенный, древнего рода и опустился на одно колено, смело протягивая руку к жезлу; Бестужева махнула перчаткой. Немец встал, обиделся и отошёл в сторону.

"Ну, конечно!" – подумал Волконский.

Он почему-то был очень спокоен. Ему казалось, и он не сомневался в этом, что жезл будет передан именно ему, Волконскому. Откуда явилась такая уверенность, он не мог дать себе отчёт, но оглядевшись, невольно почувствовал, что многие согласны с ним, и что, наверное, только он будет выбран маршалом.

За немцем следовал драгунский офицер, за офицером – опять немец, потом ещё кто-то, потом толстяк-барон, но Бестужева всем им махала перчаткой, и они удалялись в сторону с огорчённым лицом.

Наконец, очередь дошла до Никиты Фёдоровича. Он не теряя ещё своей уверенности, опустился на колено, тут только замечая, что ноги его дрожат. И вдруг всякая надежда оставила его.

"Нет, куда мне... не меня!" – говорил он себе, взглядывая на Бестужеву и испытывая неизъяснимое наслаждение стоять пред нею на коленях.

Аграфена Петровна лукаво, как бы в нерешимости, посмотрела ему прямо в глаза, и на её лице появилась совсем особенная улыбка, в которой отразилось всё счастье влюблённого в неё Волконского. Правая рука её, державшая жезл, чуть шевельнулась.

"Неужели? – с замиранием сердца подумал Волконский, но Бестужева махнула перчаткой, и свет померк в глазах Никиты Фёдоровича. – И откуда я это выдумал? – рассуждал он: – Откуда? Зачем ей меня... и, Господи! И зачем Черемзин говорил мне, что она... Нет! Нет, этого быть не может; нет, т е п е р ь уже всё кончено!"

Черемзин подошёл к "царице" сейчас же за Волконским. Никита Фёдорович видел, как он опустился на колено, как Аграфена Петровна протянула ему жезл, дала поцеловать свою руку и приложила два пальца к его щеке, исполняя старинный обряд посвящения в рыцари. Всё это

было на его глазах.

Музыка заиграла польский. Торжествующий Черемзин, слегка покачиваясь всем корпусом и развевая полы своего богатого атласного кафтана, повёл Аграфену Петровну в первой паре в такт, под мерные звуки польского.

Волконский остался в числе немногих молодых людей, которым не хватило дам. Но он, разумеется, и не желал танцевать. Теперь уже ничто не нравилось ему здесь. Он твёрдо решил сейчас же уехать домой, как только кончится этот польский. Мало того, он был уверен, что завтра же уедет навсегда из Митавы, будет заниматься "делом" и ни за что не встретиться с Аграфеной Петровной. Пусть она веселится с Черемзиным, с кем угодно, но он, князь Никита, забудет её как можно скорее. Какое, собственно, было "дело", которым он собирался заняться, – он, разумеется, не знал хорошенько; но он был уверен, что то, что он сделает, будет очень важно и нужно. Ему по крайней мере казалось так.

Аграфена Петровна в это время, в паре с Черемзиным, уже два раза прошла мимо Волконского, и теперь, делая третий круг, снова приблизилась к нему. Она смотрела прямо на него с задорною, вызывающе улыбкой. Он опустил глаза, стараясь в свою очередь улыбнуться как можно равнодушнее и не глядеть на неё. Но Бестужева оставила руку Черемзина и протянула её Волконскому. Черемзин, как ни в чём не бывало, как будто он ничего не терял и не выигрывал, принял даму следующей пары и повёл её, по-прежнему покачиваясь и развевая полы кафтана. Никита Фёдорович пошёл впереди с царицей бала.

Он чувствовал в своей руке маленькую, тонкую руку Аграфены Петровны, и её прикосновение заставляло в нём сердце неудержимо биться, грудь его наполняло восторжёнными трепетом, мысли путались и переходили наяву в какие-то чарующие, волшебные грёзы.

"Да ведь это – она, сама она, со мною рядом... Боже, как хорошо!.. Прелесть моя", – думал Волконский, напрасно стараясь держать прямо и ровно свою непослушную, дрожащую руку.

– Что с вами? – спросила Бестужева.

– Не знаю, – ответил Волконский, – почём я знаю...

Он, не теряя такта, ускорил шаг, но заговорил тише, так тихо, что Аграфена Петровна могла лишь догадываться о том, о чём он говорил, по движению его губ; и она догадывалась и понимала.

– А вы загостились в Митаве, – снова заговорила она. – Ведь вы проездом здесь?

– Не знаю... право, не знаю... Я знаю лишь одно, что никогда не уеду отсюда...

Она взглянула на него своими ясными, милыми глазами, как бы спрашивая этим взглядом: "Отчего?"

"Оттого, что я люблю тебя!" – чуть не вырвалось у князя Никиты, но он сдержал себя и, ничего не ответив, только глубоко вздохнул.

Аграфена Петровна улыбнулась и ниже опустила голову.

Пётр Михайлович Бестужев, проводив герцогиню, вернулся к гостям рассерженный. Он отлично понимал, что его дочь нарочно устроила себе торжество в заново обитой гостиной, и боялся, как бы это торжество не стоило ему многого, если взбешённая Анна Иоанновна напишет в Петербург жалобу. Он тревожился и сердился, но волей-неволей должен был при важных гостях сдерживать себя и не показывать вида, что недоволен чем-нибудь. Напротив, он старался быть как можно любезнее с оберратами, заставлял себя занять приятным разговором богатых баронов, мало-помалу разошёлся сам и, наконец, выпив стакан крепкого мёда, совсем развеселился.

В сад на террасу он вышел, улыбаясь и позабыв на время недавнюю неприятность. Со ступенек террасы была видна разукрашенная площадка, где происходили танцы, и веселье, царившее там, гром музыки и причудливая, но красивая, движущаяся пестрота толпы танцующих приятно поразили его. Воздух был насыщен ароматом цветов, чист и спокоен; деревья, точно на картине, стояли недвижимы и тихи.

Разглядывая танцующих, Бестужев сейчас же заметил среди них свою дочь, которая шла в первой паре. При виде её в нём снова проснулось недовольство её поступком с герцогиней, но он постарался сдержать

себя.

"С кем это она?" – подумал он, стараясь рассмотреть, с кем танцует Аграфена Петровна, и, наконец, узнал Волконского.

По сияющему радостному лицу князя Никиты и в особенности по смущению дочери, которое не могло скрыться от отцовского глаза, Пётр Михайлович догадался, что между ними что-то происходит теперь, что и князь и его дочь не совсем равнодушно ходят в паре под звуки этого польского. И вдруг он вспомнил недавнюю охоту, и та тоже показалась ему подозрительною.

"Так вот оно что! – решил Бестужев. – Ну, хорошо, посмотрим..."

В нём закипели досада и гнев против дочери. Положим, он никогда не был приверженцем старых московских порядков: сына весьма охотно отдал на воспитание в Берлин и радовался, когда тот, окончив там курс, поступил на иностранную службу; сам он, наконец, служил за границей и, давно став европейским человеком, держал дочь свободно, вовсе не по-московски. Но теперь, когда на самом деле, видимо, происходило то, о чём он проповедовал так часто на словах, в нём невольно поднялось скрывшееся где-то на дне души чувство слепой отцовской власти над дочерью, и он возмутился её самостоятельностью, которую сам же допустил и которой не стеснял до сих пор. Он вспомнил свою женитьбу, вспомнил, как ещё сравнительно недавно девушка не смела смотреть даже на жениха, а не только на постороннего молодого человека – и вдруг его родная дочь вот так свободно разговаривает с приезжим князем Волконским, у них, быть может, решается что-нибудь, а он, отец, ничего не знает, и он большими, тяжёлыми шагами спустился с лестницы и направился к площадке.

В эту минуту как раз кончился польский, и пары с глубоким поклоном расходились в разные стороны.

Бестужев, сдвинув брови и сердито опустив углы губ, подозвал к себе дочь.

– Отчего ты танцуешь с Волконским? – спросил он, не скрывая своего гнева.

Аграфена Петровна удивлённо взглянула на него.

– Надо же с кем-нибудь танцевать, – ответила она, – для того и бал.

– Хорошо... Но больше ты не будешь танцевать с ним во весь вечер. Слышала?

– Я избрана царицей бала, – возразила с улыбкой Аграфена Петровна, – и здесь, по закону и обычаю, всё в моей власти: я могу делать всё, что хочу, и танцевать с кем угодно.

Она была права – обычай был действительно таков.

Пётр Михайлович ничего не мог сказать ей; его родительская власть здесь не имела силы.

– Чёрт возьми ваши обычаи и эти танцы! – процедил он сквозь зубы и на весь вечер остался уже молчаливый и неприветливый, с нетерпением ожидая, когда наконец разъедутся гости.

Черемзин, как маршал, распорядившись танцами, велел играть менуэт и стал устраивать пары. Аграфена Петровна танцевала менуэт опять с Волконским.

VII ОТЕЦ

Проводив последнего гостя, Бестужев, несмотря на поздний час, направился прямо в уборную дочери. Аграфена Петровна, утомлённая весельем этого дня, сидела у зеркала в большом мягком кресле, медля позвать своих служанок. Она желала остаться несколько минут теперь одна, сама с собою, после всего этого бального шума, пестроты, суетни и блеска. Она откинулась на спинку кресла и сидела так, не меняя положения и наслаждаясь тишиной и покоем.

Отец вошёл быстро, не постучав предварительно в дверь, и большими шагами приблизился к креслу.

Аграфена Петровна вздрогнула.

– Господи, как вы меня испугали! – проговорила она.

– Спасибо, Аграфена Петровна, зело тебе спасибо! – начал тот сердитым голосом. – Скажи, пожалуйста, что всё это значит?

Бестужева не была удивлена ни вопросом, ни вообще неудовольствием

отца. Она знала заранее, что дело не обойдётся без серьёзного объяснения, но не ожидала того тона, которым говорил теперь Пётр Михайлович. Он никогда не обращался так с нею.

– Простите, батюшка, но сегодня я просто не могу говорить: я устала, нездоровится мне, завтра...

– Если я говорю, так не завтра, а сегодня! – резко перебил Бестужев. – Да изволь встать, когда говоришь с отцом! – вдруг крикнул он и отвернулся.

Аграфена Петровна испуганно подняла свои прекрасные, выразительные глаза на отца, недоумевая, что случилось с ним, и тихо встала с кресла, опустив голову и покорно сложив руки, готовая слушать и подчиняться ему.

Эта её покорность, – напускная покорность, как воображал Бестужев, – только больше взбесила его. Он хотел, чтобы она лучше рассердилась, вспылила, расплакалась, наконец, хотя он терпеть не мог слёз, только бы она дала ему повод вылить, в потоке укоризненных слов, накипевшую в его груди злобу. Но она стояла пред ним, тихая и милая, в своём великолепном наряде, который удивительно шёл к ней.

– Извольте ж отвечать, сударыня! – проговорил, едва сдерживаясь, Пётр Михайлович.

– Да в чём же я виновата? – произнесла, вполне овладев собою, Аграфена Петровна.

– Мебель... мебель – это раз! – снова закричал Бестужев, раздражаясь уже резким звуком собственного голоса и в особенности тем, что не может сдержать гнев.

– Это – не более как случайность; почём же я могла знать, что это так выйдет?

– Знаю, всё это я знаю тоже, что не случайность... меня-то, матушка, не проведёшь!.. Ты вот тут думаешь о своём самолюбии, а мне приходится расплачиваться за это, – горячился Пётр Михайлович. – Что ты думаешь, о н а, – он произнёс это слово так, что было ясно, что он понимает герцогиню, – не напишет теперь обо всём в Петербург, не станет

жаловаться?.. Лёгкая штука – нечего сказать! И попомни моё слово, даром тебе эта мебель не пройдёт... Вот увидишь, когда-нибудь да вспомнится... отомстит она тебе!.. Ну, а затем Волконский...

– Что ж Волконский? – спросила вдруг Аграфена Петровна.

Бестужев остановился, подыскивая выражение, которое соответствовало бы тому, что он хотел сказать.

– Что у тебя с ним, а?

Она не ответила.

– Что у тебя было с ним? – повторил Пётр Михайлович.

– Решительно ничего... Что ж, я только танцевала... я могла сделать это. Тут не было ничего дурного...

Бестужев закусил губу...

– Ах, знаю я это всё! – повторил он: – Да ведь ты же понимаешь... ведь видишь, что он без ума от тебя...

– Если вы всё видите, так должны и об этом знать, – возразила она, пристально взглядывая на отца, ожидая, что он ответит.

– Та-ак! – протянул он. – А если, по-моему, и сама ты...

– Что я сама?.. Ну, это – неправда, неправда, ничего я сама... для меня Волконский решительно как все другие, – волновалась Аграфена Петровна, а в голове у неё мелькало в это время: "Господи! неужели заметно?.. неужели я в самом деле?.. да нет, нет!.." – Этого не может быть, – продолжала она вслух. – Кто вам сказал это? Или вы сами заметили?

– Это всё равно, но если это так, то я тебя предупреждаю, что этого никогда не будет, я не позволю. Слышишь? не позволю... Я тебе дам без отца, никогда не спросясь... замуж выходить!.. Ишь, выдумала... волю забрала! Так я сумею привести тебя на путь истинный!

И Бестужев, круто повернувшись, ушёл, застучав каблуками и не простившись с дочерью.

Аграфена Петровна долго оставалась пред зеркалом, так, как оставил её отец. Мысли с особенною, необычайною быстротою менялись в голове. Гнев отца, торжество над герцогиней, невыясненное до сих пор и вдруг

получившее теперь точно какую-то определённую форму чувство к Волконскому, – всё это волновало её, тревожило, не давало успокоиться. Она забыла об усталости и чувствовала, что сон не придёт к ней... Грудь её точно была стеснена чем...

"Шнуровка, – пришло ей в голову, и она, подумав о своём наряде, оглядела себя в зеркало с ног до головы. – "Eine Furstin – настоящая княгиня", – вспомнила она слова Розы.

Аграфена Петровна позвала Розу, велела раздеть и подать свой широкий шёлковый шлуппер.

– Я ещё не лягу в постель, – пояснила она и, сев за свой маленький письменный стол, тщательно очинила перо и начала письмо к брату в Ганновер.

Она по-немецки писала ему о перемене в отце, об его вспышке и о том, что он вдруг выразил желание стать тираном её души в противность тому просвещению, которое столь свойственно всему роду Бестужевых. О Волконском, разумеется, в письме не было и речи. Да и не о нём теперь беспокоилась Аграфена Петровна. Ей важно было выяснить при помощи брата, неужели, если действительно она полюбит кого-нибудь, то отец может положить запрет на её свободную любовь, на лучшее чувство её души?

Анна Иоанновна в этот вечер тоже долго не ложилась спать и тоже писала. Она писала медленно, постоянно морщась и с невероятным трудом обдумывая "штиль" своего письма. Вернувшись домой, она быстро скинула своё ярко-жёлтое платье и тут же подарила его камеристке, потом прогнала всех из комнаты и села писать прямо к дяде-государю. Она долго перечёркивала, переписывала и переделывала, но, составив, наконец, слёзную жалобу на Бестужева царю Петру, перечитала её и изорвала. Она положительно не могла написать так, как следовало. Все письма к государю сочинял ей сам Пётр Михайлович, и теперь некому было заменить его.

"Господи, что же делать мне?" – спрашивала себя Анна Иоанновна. – Матушке написать, она – моя единственная защитница, – решила она, и

уже без помарок и перечёркивания, написала многословное послание к царице Прасковье, в котором жаловалась на терпимые ею в Курляндии притеснения и просила, чтобы матушка умолила своего деверя-царя отозвать отсюда Бестужева. – Ну, Пётр Михайлович, посмотрите вы с вашей Аграфеной теперь! Уж я терплю-терплю, а потом добьюсь своего, посмотрим... Заговорите вы, как уберут вас отсюда!" – думала она, заранее радуясь тому, как "разжалуют" Бестужева, в чём она не сомневалась, надеясь, что государь ни в чём не откажет своей покорной золовке.

На другой же день Пётр Михайлович узнал, что герцогиня послала уже рано утром секретного гонца в Петербург с собственноручным письмом к матушке-царице Прасковье. Цель этого послания и содержание письма были ясны Бестужеву.

Когда он по обыкновению приехал к герцогине утром с докладом, та не приняла его. Дело выходило серьёзным, так как Анна Иоанновна, видимо, начала открытую борьбу, и Пётр Михайлович задумался, не зная на этот раз силы противника. На такой явный разрыв с ним герцогиня могла решиться, только заручившись твёрдой поддержкой в Петербурге, а Бестужев знал, что такая поддержка не возможна для неё. Он выждал несколько дней, не одумается ли Анна Иоанновна и не пришлёт ли за ним; но она не присылала. Тогда он ещё раз попробовал явиться в замок, но его опять не приняли. Очевидно, герцогиня не боялась его.

Пётр Михайлович дома ходил сердитый, не в духе, упрекал дочь за случившееся, и его обхождение с нею совершенно изменилось. В обществе он старался казаться равнодушным и весёлым, но многие замечали, что это равнодушие и веселье служили только маской для того беспокойства, от которого не был в силах отделаться Бестужев.

Анна Иоанновна, в ожидании ответа из Петербурга на своё послание, переехала жить в Вирцау, и – странное дело – митавский замок с отъездом хозяйки не только опустел, но, напротив, в нём проснулась жизнь. Население замка, не стесняемое теперь присутствием герцогини, оживилось, в саду появились гуляющие, на дворе показалась прислуга, в

окнах дольше обыкновенного по вечерам блестели огни, и только покои герцогини темнели по-прежнему.

Волконский с утра выходил в сад, не боясь уже встречи с герцогиней, и подолгу гулял там со своею книжкой.

Он находился теперь в самом блаженном состоянии счастливого влюблённого и, наслаждаясь воспоминаниями бала, думал только об Аграфене Петровне и искал с ней встречи.

Черемзин рассказал ему, что на днях будет храмовый праздник в церкви Освальдского замка, где жил старый граф Отто, и что в этот день вся Митава бывает у него в гостях. Князь Никита сейчас же подумал, что, наверно, там будут Бестужевы и что хорошо было бы попасть туда, если это возможно.

Замок Освальд, расположенный недалеко от Митавы, вверх по реке Аа, на левом берегу, на небольшом холме, был основан в 1347 году рыцарем Ливонского ордена Освальдом и сохранил всё своё прежнее величие, несмотря на пронёсшиеся над его стенами века. Народное движение, реформация и, наконец, распадение ордена прошли для него бесследно, и в начале XVIII столетия живший там бездетный старец граф Отто – последний Освальд – оставался верным католиком и ревниво охранял свой замок от всякого новшества. Граф никого не принимал и сам не выходил за черту своих окопов. Народ про него рассказывал басни; говорили, что он – алхимик и чародей, а в Митаве считали его просто выжившим из ума сумасбродным стариком, хотя и отзывались о нём с уважением.

Замок со своими высокими стенами, рвами, башнями и бойницами, с подъёмным, гремевшим цепями мостом, имел снаружи странный, таинственный вид и казался необитаемым. Только в утренний час обедни из-за этих стен раздавались мерные удары колокола.

Старый граф жил у себя, как хотел, никому не мешая, и не позволял, чтобы мешали ему. Он рабски придерживался дедовских обычаев, завещанных ему отцом, на которого был очень похож своими причудами и странностями.

В обыкновенное время ворота замка никогда не растворялись для случайного посетителя или гостя. Раз только в год, в престольный праздник замковой церкви, эти ворота были отворены для всех желающих, и тогда всякий, кто хотел, – и знатный, и простолюдин – мог идти в гости к старому графу. Для народа устраивалось угощение на дворе, а благородных гостей провожали в столовый зал к графу.

Таким образом, попасть туда Волконскому было очень легко и возможно.

VIII СТАРЫЙ ЗАМОК

– Да вставай, брат, вставай!.. Не то опоздаем, – будил давно умытый, причёсанный и почти одетый князь Никита лежавшего ещё в постели Черемзина.

– А-а-а, который час? – зевнул Черемзин.

– Скоро шесть...

Было ещё половина шестого утра, но Волконский нарочно сказал больше.

– Так рано ещё – успеем, – сонным голосом отозвался Черемзин и повернулся к стене.

– Ну что мне с тобой делать? – беспокоился Никита Фёдорович. – Где же мы успеем? Ты одеваться будешь полтора часа по меньшей мере... Да сам ты вчера говорил, что до Освальда час езды будет, значит, приедем туда в половине девятого, а нужно быть в восемь.

– Значит, приедем в половине девятого, – согласился Черемзин, садясь на постели, потягиваясь и мигая ещё слипавшимися от сна глазами. – Знаешь, князь, – вдруг сообразил он, – мы вот что сделаем – вовсе не поедем.

Волконский только рукой махнул.

– Ведь всё равно опоздали, – продолжал Черемзин.

– Да встанешь ли ты, может, и не опоздали.

– Да ведь её не будет...

– Кого её?

– Не знаешь? – и Черемзин лукаво прищурил правый глаз.

- Послушай, наконец... – начал уже рассердившийся князь Никита.
- Ты погоди злиться. Я тебе приятную новость могу сообщить.
- Ну? – спросил, не меняя тон, Волконский. – Да, верно, опять врешь что-нибудь.
- Нет, не вру. Вчера я положительно узнал, что Бестужева отзывают отсюда.
- Ну, что ж из этого?
- Ну, значит, он будет в немилости, лишится своего положения, может быть, состояния. Герцогиня вот уже сколько времени не принимает его, словом, Бестужев накануне падения.
- Так что ж тут приятного?
- Для Петра Михайловича, конечно, ничего, но для тебя это очень хорошо.
- Да что ты, не проснулся, верно? Что ты за вздор говоришь?
- Нет, не вздор, голубчик. Ведь ты Аграфену Петровну любишь?
- Волконский молчал.
- Любишь ты её или нет, я тебя спрашиваю?
- Ну, хорошо... дальше что?
- А если ты её любишь, то ни на богатство, ни на протекцию её отца внимания не обращаешь. Значит, то, что казалось невозможным или трудным, когда Бестужев был в силе, станет просто и даже очень достойно с твоей стороны, когда он впадёт в немилость...
- То есть?
- Да сватовство твоё к Аграфене Петровне! – отрезал вдруг Черемзин и, спустив ноги с кровати, быстро стал одеваться.

На этот раз он окончил свой туалет довольно поспешно и не было ещё половины седьмого, когда они выехали верхом, быстрою рысью, за город.

Слова Черемзина всю дорогу мучили Волконского. Он не мог не сознаться, что эти слова были счастливою и чудною истиной, но, несмотря на это, для него Аграфена Петровна всё-таки казалась так недостижимо прекрасна, что то счастье, о котором говорил Черемзин,

представлялось неземным, нездешним и потому для простого смертного невозможным.

– Фу! Я с ума сойду! – повторял он, схватываясь за голову.

Они подъехали к замку как раз вовремя, когда только что загудел церковный колокол, и ворота отворились.

Толпа народа, ожидавшая этой минуты, повалила в ворота, потому что с последним ударом колокола ворота снова затворялись и в продолжение всего дня, до вечера, нельзя было ни войти в замок, ни выйти из него.

Узенький первый двор замка, стиснутый между двумя почти лишёнными окон стенами, был вымощен плоскими квадратными камнями, между которыми пробивалась сорная трава, и казался пустынным и неприветливым. Но за вторыми – башенными – воротами открывалась широкая обсаженная деревьями и усыпанная песком площадь, где готовилось угощение для простонародья.

Обогнув эту площадь, благородные гости подъезжали к длинным ступеням главного подъезда, у дверей которого вытянулись и застыли, словно каменные, держа наотмашь свои алебарды, два латника в старинном и блестящем на солнце вооружении.

Волконский слез с лошади и, отдав её конюху, стал вслед за другими подыматься по лестнице в покои графа.

Знакомый теперь князю Никите митавский замок Кетлеров, где жила герцогиня со своею свитою, был почти на целое столетие старше Освальда, но имел гораздо более современный вид, даже снаружи, не говоря уже о внутреннем убранстве. Два высоких со стрельчатыми сводами и окнами зала, которое миновали гости, имели строгий, до мельчайших подробностей, характер глубокой старины, тщательно сохранённой. Узкая галерея, с длинным рядом фамильных портретов графов Освальдов, вела в церковь, где начиналась обедня. Эта церковь, освещённая прозрачною мозаикой мелких разноцветных стёкол, с открытым католическим алтарём, была невелика. Впрочем, и гостей, допущенных сюда, было немного. Впереди, в особом, обтянутом красным сукном месте, сидел сам старик граф Освальд, одетый в чёрный

бархатный кафтан покроя шестнадцатого, столетия. На плечах у него была графская мантия. Гости разместились по скамейкам: в первых рядах дамы, мужчины – позади.

Вся эта обстановка замка и граф в своём чёрном одеянии резали глаз непривычною важностью и по-своему были величественно красивы, но как-то уж слишком "по-своему", в особенности, в сравнении с шуршавшею своим атласом и шёлком толпою гостей, в нарядах, к которым привык глаз Волконского.

Но Никита Фёдорович не обращал почти ни на кого и ни на что внимания, потому что та, для которой он приехал, была здесь.

Бестужев нарочно явился с дочерью в Освальд, желая показать, что его дела идут вовсе не дурно и что он совершенно спокоен и весел.

Служба была продолжительна. Сначала патер произнёс длинную проповедь по-немецки, потом началась торжественная обедня при звуках органа и пения. Волконский нетерпеливо ждал окончания службы, чтобы иметь возможность подойти и заговорить с Аграфеной Петровной, но эта возможность представилась не скоро. Когда вышли из церкви, Бестужева с отцом и прочими важными людьми прошла вперёд, и Никите Фёдоровичу неудобно было попасть в их среду; но он видел, что Аграфена Петровна, пройдя мимо него, заметила его и знала, что он здесь и любит её, и восхищается ею. Этим сознанием он утешился.

После обедни граф, перейдя в зал, приветствовал важных гостей и здоровался с остальными, которые по очереди подходили к нему и которых, не ошибаясь, называл графу мажордом, неизвестно как и откуда уже узнавший их имена.

Представление кончилось, раздался звук рожка, и два пажа в серебряных епанчах с гербами графского дома Освальдов настезь распахнули большие дубовые двери в соседний зал, где был приготовлен стол для угощения.

Этот стол имел форму подковы и был сплошь заставлен тяжёлою серебряною посудой, кубками и кувшинами. Пред каждым стулом с резною высокою спинкой на столе стояли серебряные тарелки, но ни

ножей, ни вилок, запрещённых в старину в католических монастырях, не лежало возле них. На середине стола и на обоих концах его, в серебряных бассейнах били небольшие фонтаны белого и красного вина. Тут же стояли затейливые сооружения из теста, украшенного разноцветною глазурью: высокий замок с башнями, дверьми и окнами, корабль с парусами и снастями, огромный павлин, распустивший свой хвост, мельница с вертящимися крыльями, увитый плющом Бахус на бочке. Белая реймская скатерть была увешана и покрыта гирляндами цветов.

– Что, хорошо? – спросил Черемзин Никиту Фёдоровича, усаживавшегося с ним за стол.

– Что ж, хорошо, – согласился Волконский, оглядываясь и напрасно ища салфетки и прибора. – Только как же есть?

Хотя отсутствие прибора и не особенно поразило – сам царь Пётр ел часто просто руками, – но он сделал свой вопрос, потому что Аграфена Петровна могла увидеть, как он будет пальцами пачкаться в кушанье. Однако Черемзин успокоил его, что у графа такое обыкновение, да и кушанья будут подаваться совсем особенные.

Действительно, князь Никита никогда ещё не пробовал сухого винегрета из бараньих языков, приправленных разными пряностями, с которого начался обед. За этим первым блюдом следовал бесконечный ряд разных разностей: цыплята в уксусе, кабанье мясо с каштанами, телячьи сосиски, рыба сушёная и вяленая, дичь с золочёными клювами и ногами, паштеты ласточек, артишоков, каплунов и бычьих языков, потом спаржа, сыры, засахаренные огурцы, компот из слив, наконец, торты и пироги итальянские, слоёные, на сливках и на белом вине. Волконский не только не мог всё это съесть, но даже запомнить по порядку.

После каждого блюда пажи с кувшинами розовой воды обходили гостей и подавали им мыть руки.

Граф сидел всё время молчаливо и неподвижно, мало ел и изредка пил что-то особенное из стоявшего пред ним кубка.

– А знаешь ли, ужасная тоска! – шепнул Волконский Черемзину, на что

тот лишь повёл бровями, как будто говоря: "Ведь я предупреждал, что не стоило вставать так рано".

Никита Фёдорович даже не мог глядеть на Бестужеву – хвост стоявшего на столе пред нею павлина заслонял её. И напрасно Волконский ждал, когда, наконец, дойдёт очередь до этого павлина в ряду кушаний графского стола.

Этот бесконечный ряд блюд, эти кувшины розовой воды, отсутствие оживления и однообразное журчание фонтанчиков стали вдруг производить на князя Никиту самое угнетающее впечатление.

"И к чему всё это?" – думал он.

В это время на середину зала вышел одетый в плащ и с арфою на плече старик с длинною седою бородой и старческим, тихим, но сохранившим свою музыкальность и певучесть голосом спросил по-немецки:

– Что будет угодно дамам, графу и его высоким гостям, чтобы спел я?

Черемзин, которому уже надоело сидеть не менее, чем Волконскому, не предвидя от этого пения ничего хорошего, от души пожелал старику охрипнуть.

– Песню об Алонзо! – слышалось на вопрос певца.

– Кольцо! – проговорил женский голос.

И старик, почтительно склонившись в его сторону, запел песню о кольце.

Я взошла на высокую гору,
Лес шумел вдалеке под горой,
Здесь три князя ко мне выезжали
И один был из них молодой.

Он с руки снял серебряный перстень,
Свой серебряный перстень он снял,
И мне отдал серебряный перстень,
И, его отдавая, сказал:

– Если спросят, откуда взяла ты,
Этот перстень откуда взяла?
Отвечай, то в лесу, под горою,
Этот перстень сегодня нашла.

– Нет, не буду я лгать, что сегодня
Этот перстень нашла под горой,
А скажу, что серебряным перстнем
Мой жених повенчался со мной.

Общую натянутость и тоску живо чувствовала и Аграфена Петровна, и для неё они были ещё несноснее и неприятнее, потому что самой по себе ей было далеко не весело. Она почти не притрагивалась к кушаньям и сидела низко опустив голову над столом, внимательно глядя на свою руку, которую слегка поглаживала скатерть.

– Ах, как хорошо, очень хорошо! – сказал сидевший рядом с нею оберрат, когда кончилось пение. – А моя дама не любит пения? – обратился он к Бестужевой.

Она подняла на него глаза. Оберрат, очевидно, недаром наполнял часто свой кубок во время обеда. Его нос и щёки были красны, и глаза поддёрнулись влагой.

"Противно смотреть", – подумала про него Аграфена Петровна и, ничего не ответив оберрату, снова опустила голову. "Господи, когда же будет этому конец?" – мысленно повторяла она.

Старик ещё что-то пел, но Бестужева его уже не слушала, всецело охваченная своими грустными, тяжёлыми мыслями.

От этих мыслей её как бы разбудили вдруг резкие звуки роговой музыки, должно быть, раздавшиеся после пения старика. Она огляделась и увидела, что из-за стола вставали, с шумом отодвигая тяжёлые стулья.

Сырой воздух зала давно отяжелел от запаха вина, кушаний, розовой воды и приторно-ароматного чада четырёх высоких курильниц, дымивших всё время в углах. Истомлённая долгим сидением и скукой

Аграфена Петровна чувствовала, что просто нечем дышать, что она не может дольше оставаться здесь. Она, бледная, едва добралась до дверей и, выйдя из зала, попала в какую-то многоугольную, с низким потолком, комнату, заставленную шкафами с книгами.

"Библиотека", – догадалась Аграфена Петровна и пошла дальше, потому что здесь низкий потолок давил её.

Она увидела в стене маленькую дверь, за которую сейчас начиналась узкая лесенка наверх, и стала подниматься по ней. Куда она шла – ей было решительно всё равно, но ей хотелось куда-нибудь, лишь бы вздохнуть свободно, одной. Лестница освещалась маленькими окнами и вела, очевидно, наверх одной из башен замка.

Бестужева несколько раз останавливалась, тяжело дыша и прикладывая руку к сильно бившемуся сердцу, как бы желая остановить его, и потом опять шла кверху, боясь поскользнуться на каменных, старых ступенях.

Наконец, она вышла на свежий воздух, на вершину высокой башни, окружённую толстыми, неуклюжими зубцами, которые снизу казались удивительно лёгкими и маленькими. Поднявшись, она с наслаждением порывисто вздохнула и опустилась в прогалине меж двух зубцов на грубый камень, тепло согретый солнечными лучами. Она чувствовала, что голова у неё кружится, и боялась некоторое время смотреть вниз, чтобы не упасть, но потом провела руками по лицу и, приходя в себя, невольно стала любоваться непривычною картиной открывшегося перед нею вида.

Внизу, у самых стен замка, слегка покачивался своими верхушками лес, точно двигавшаяся бородавчатая, покрытая щетиной, спина неведомого зверя; за лесом расстилалось поле с серебряною лентой реки, а там, далеко, сплошную пёстрою полоской виднелась в тумане Митава. Мост замка был поднят, и глубокий чёрный ров правильным кольцом опоясывал со всех сторон замок.

"Выхода нет!" – подумала Аграфена Петровна.

Этот крепкий, каменный, непобедимый, заполонивший её на сегодня, замок с удивительной ясностью напомнил ей её положение. Она кругом и

вполне зависела от отца. Отец был раздражён беспокойством о своих служебных делах; он мог ещё больше рассердиться, и вот она ничего не в силах сделать, связана по рукам и ногам. Что ж она такое?.. Бедная, ничего по себе не значащая дочь важной до поры до времени персоны в Митаве. Но сама по себе она – пока ничто, р е ш и т е л ь н о н и ч т о !..

А между тем эта высота, на которой сидела теперь Аграфена Петровна, и открывшаяся пред нею, точно подвластная ширь, говорили ей, что душе её родственна и близка прелесть независимости, власти и значения и что, раз она может понимать это, значит, должна достичь.

"Но ведь выхода нет, – повторяла она себе. – А он должен быть".

"Отвечай, что в лесу под горою

Этот перстень сегодня нашла!" – вспомнила вдруг Аграфена Петровна и, прислушиваясь, наклонила голову.

По лестнице поднимались шаги. Кто-то шёл к ней.

"Да, серебряный перстень, – продолжала она думать. – Но кто же это будет?"

Шаги были совсем уже близко. Ещё секунда – и на площадку башни вошёл Волконский. Он сейчас же заметил внизу исчезновение Аграфены Петровны и невольно стал искать её.

– Насилу-то!.. – проговорил Никита Фёдорович, с трудом переводя дух от ходьбы по лестнице.

Бестужева не глядела на него.

Как ни странно это было, но ей казалось теперь, что именно князь Никита должен был прийти в эту минуту и что он должен был искать именно её.

– Господи, я измучился, истомился без вас, – заговорил Волконский, сам удивляясь своим словам и их смелости, – такая тоска тут... Да и везде без вас тоска, – вдруг сказал он.

– Вы знаете старую сказку о спящей принцессе? – спросила Аграфена Петровна. – Помните, как она проснулась в замке, который сто лет спал вместе с нею? Знаете, мы точно попали на это пробуждение. Этот замок словно проснулся сейчас, заснув несколько десятков лет тому назад, – до

того здесь всё по-старинному... Только принцессы нет, пожалуй...

Никита Фёдорович смотрел на неё счастливыми, блестящими глазами.

– А вы? Вы... Аграфена Петровна?.. Господи! Я с ума сойду! – повторил он с утра преследовавшие его слова.

И он и она знали, что сейчас, сию минуту, должно выясниться то, зачем их свела судьба случайно, как сначала казалось, и выясниться это должно теперь или никогда.

Князь Никита сделал несколько шагов к девушке и подошёл совсем близко. Зачем он сделал это – он не помнил и не понимал, потому что ничего не мог теперь помнить и понимать. Она также бессознательно двинулась к нему и, почувствовав его близость, любовь, смущение и радость, вдруг просветлела вся, и ей стало ясно, что она любит этого человека, верит ему и что с ним приходит к ней новая жизнь, свободная и прекрасная. Она ничего не могла сказать ему, но руки её поднялись послушно и доверчиво и бессильно упали на плечи князя.

– Моя!.. моя! – прошептал Никита Фёдорович, прижимая её к груди.

В это время на лестнице опять раздались чьи-то шаги, и Аграфена Петровна пугливо отстранилась.

На башню вошли несколько гостей, пожелавших осмотреть замок. Волконский и Бестужева стояли вдали друг от друга и внимательно, как казалось, разглядывали Митаву, споря о том, какая церковь видна справа. Один из пришедших постарался объяснить им и сам заспорил.

IX СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ

Наступил август месяц, а положение Бестужева в Митаве несколько не выяснилось.

Герцогиня жила в Вирцау и не виделась с ним. Из Петербурга не было никаких известий.

Пётр Михайлович сидел у себя в кабинете, в утреннем шлафроке. Был восьмой час утра. Он только что встал.

Поместившись поудобнее в кресле у письменного стола, Бестужев задумчиво смотрел на строки письма, привезённого оказией ещё вчера

вечером и давно прочитанного. Письмо было из Ганновера, от сына Алексея, который, получив от сестры известие о замеченной ею в отце перемене, сейчас же сел сочинять ему длинное, на немецком языке послание, строго придерживаясь изученных в берлинской академии стилистических правил. Замысловатые, вычурные фразы письма составляли целый философский трактат о том, что женщина может выбирать себе мужа по сердцу. Алексей Петрович ни словом не обмолвился, что речь идёт об Аграфене Петровне и об отношениях к ней отца. Но тот сейчас же понял, в чём дело.

Горячий, как казалось, великолепный стиль письма нравился ему. Он с горделиво-самодовольной отеческой улыбкой перечитывал письмо и несколько раз подумал о том, что сыну его предстоит, вероятно, в будущем большие успехи.

Письмо освежило Бестужева, дало ему новую нить мыслей и окончательно побороло проснувшееся старомосковское чувство отеческой власти. Пётр Михайлович сознался сам пред собою, что готов был повернуть назад с того пути, по которому шёл до сих пор неуклонно.

Начав думать в этом направлении, он всё более и более убеждался в своей неправоте, наконец вдруг поспешно встал с кресла и с добродушною усмешкой направился на половину дочери.

Аграфена Петровна рассеянно слушала неумолчную болтовню Розы, когда в дверь раздался лёгкий стук.

– Войдите! – ответила она.

Дверь отворилась, и на пороге показался Бестужев, как он был в шлафроке, колпаке и туфлях.

– Ach, Gott! [7] – воскликнула Роза, притворяясь сконфуженною.

Пётр Михайлович, не заметив горничной, прямо подошёл к дочери и поцеловал её в лоб.

Та сделала знак Розе, что она может выйти, и удивлённо взглянула на отца, на письмо, которое он всё ещё держал в руках, и постаралась разгадать, почему явилась в нём снова прежняя ласковость, исчезнувшая со дня истории с жёлтою гостиной.

"Верно, из Петербурга хорошие вести", – догадалась она.

– Я получил письмо от Алексея, – заговорил Пётр Михайлович. – Славно он пишет...

Аграфена Петровна вдруг густо покраснела. Она тоже получила вчера от брата письмо в ответ на своё и знала теперь, о чём он мог писать отцу.

Пётр Михайлович ласково смотрел прямо в глаза дочери, точно старался заглянуть в самую её душу.

– Ты вот что, – начал он, – я был вот тут всё расстроен, беспокоился и говорил тебе... – Бестужев замялся. – Так это ты забудь, – добавил он вдруг.

– О чём забыть, батюшка?

– Ну, там... я тебя, словом, неволить не стану... Если захочешь замуж... так выбери себе жениха – я благословлю...

Аграфена Петровна, чувствуя, что краска не сбежала ещё с её лица, опустила голову, напрасно стараясь овладеть собою. Она понимала, что отец сам не выдержал долгой своей строгости к ней и что письмо Алексея Петровича было скорее предлогом, чем внезапною причиной того, что эта строгость была заменена прежнею милостью.

– Я ещё не собираюсь замуж... мне у вас хорошо, – сказала она.

– Не ври!.. Зачем врать?.. Ты думаешь, я не вижу... князя Никиту-то... не вижу? а?

Аграфена Петровна не могла сдержать своего волнения.

– Ах, батюшка, не надо, не надо об этом! – заговорила она, не имея в себе силы побороть себя.

Какие-то глупые, ненужные, но счастливые слёзы подступали к горлу.

– Да ведь что ж... когда-нибудь нужно будет всё равно – зачем тянуть понапрасну?.. Ведь он любит тебя, – ну, и Христос с вами!..

Аграфене Петровне, несмотря на всё её смущение, захотелось вдруг, чтобы отец сейчас же подтвердил, что Волконский любит её, чтобы он представил ей доказательства этого, чтобы он у с п о к о и л её, как будто она и в самом деле не знала и сомневалась, что Никита Фёдорович любит её больше жизни. Она потребовала этого от отца не словами, не

вопросом, но только взглядом своих влажных блестящих глаз. И Пётр Михайлович понял этот взгляд.

– Ну, да... сам молод был... и сам был такой, как твой Волконский, – прошептал он, стараясь незаметно провести рукою по глазам.

– Батюшка, что с вами? Слёзы у вас?.. – заговорила Аграфена Петровна, обнимая отца и пряча у него на груди своё лицо. – Полноте, батюшка!..

Она привыкла видеть его всегда ровным, спокойным, скорее суровым, думала, что изучила характер его и знала, как обращаться и говорить с ним, но никогда не ожидала, чтобы у него, у её старика отца, показались слёзы на глазах и что он т а к любил её.

Подбородок её сильно дрожал, дыхание сделалось чаще, и она, крепко прижавшись к отцу, заплакала, как ребёнок, согретый наконец такою ласкою, по которой давно тосковала душа его.

Успокоив дочь, и сам Пётр Михайлович вышел от неё успокоенный и весёлый. Камердинер давно уже ожидал его с платьем, удивляясь, почему нынче так долго барин не идёт одеваться.

– Что, заждался? – спросил его Бестужев. – Ну, давай скорее, и без того поздно!

Пётр Михайлович ощущал теперь в себе особенную лёгкость, точно гора свалилась у него с плеч, и мысленно почему-то несколько раз повторил себе: "Ну, теперь, кажется, всё будет хорошо". Беспричинно он чувствовал, что совсем успокоился, и, к своему удивлению, вскоре увидел, что это чувство явилось у него даром.

Из замка приехал Черемзин с известием, что герцогиня вернулась в Митаву и сегодня же сама навестит Петра Михайловича. Это был неожиданный для Бестужева и самый блестящий исход всех его беспокойств и неприятностей.

Анна Иоанновна действительно приехала, как сказал Черемзин. Бестужев встретил её у крыльца. Она вышла из кареты, молча направилась по лестнице и также молча прошла вплоть до самого кабинета Петра Михайловича.

Бестужев почтительно следовал за нею, стараясь ничем не показать

своего торжества, которое тем не менее так и светилося в его глазах.

Герцогиня казалась несколько бледною, пригнула голову и смотрела в пол. Войдя в кабинет, она опустилась в кресло, тяжело дыша.

Бестужев стоял пред нею и, видя, что она, должно быть, ждёт, когда он сядет, чтобы начать разговор, тоже сел и всем существом своим постарался выразить, что готов внимательно слушать то, о чём ему будут говорить.

Герцогиня всё молчала, поправляясь в кресле и, очевидно, не зная, с чего начать. Положение казалось неловким, но Пётр Михайлович терпеливо ждал, не желая помочь Анне Иоанновне.

– Пётр Михайлович, – заговорила она наконец, – ты меня знаешь... я всегда была расположена к тебе...

Бестужев поклонился.

– Ну, так вот, Пётр Михайлович, как ты думаешь, сладка моя жизнь здесь или нет?

– Ваша светлость... – начал было он.

– Нет, ты прямо ответь – сладка моя жизнь? Молчишь – ну конечно, сказать тут нечего... Я сердилась на тебя; так вот, видишь ли, ты не сердись на меня за это...

Она говорила отрывисто, с трудом подбирая слова и повторяя их, хотя заранее обдумала всё, что скажет и как именно скажет, но теперь перезабыла всё придуманное и не знала, как ей быть.

– Конечно, я теперь вижу, что ты – человек хороший, – снова заговорила она, – и разумный, и всё такое... и зла мне не пожелаешь, – промолвила она, и хотя это было опять вовсе не то, но она продолжала: – Я никогда тебе дурного не желала... Ну, там была, что ли, размолвка, но это – дело прошлое...

Анна Иоанновна остановилась. Она решительно не знала, что ей ещё сказать.

– Да в чём дело, ваша светлость? Что такое? – спросил наконец Бестужев.

– В чём дело?.. Эх, да что тут! Уж если говорить, так говорить... Из

Петербурга я получила указ.

Уезжая из дома она была твёрдо уверена, что ни за что не проговорится об этом указе, но тут вдруг, к крайнему своему удивлению, именно с него-то и начала.

"Верно, так уж тому и быть должно", – решила она.

– Ох, беда моя, не умею я тонкие дела вести!.. Ты, Пётр Михайлович, цени мою откровенность...

– Какой же это указ? – опять спросил Бестужев.

– Ну, да вот он, возьми, что ж, я уж скрываться не буду!.. – И Анна Иоанновна, желая победить гофмаршала своею доверчивостью, протянула ему бумагу.

Бестужев почтительно принял её и не спеша стал просматривать.

Указ был дан, по поручению царя, от государыни Екатерины на имя царицы Прасковьи, матери Анны Иоанновны, и гласил:

"Пётр Бестужев отправлен в Курляндию не для того токмо, чтоб ему находиться при дворе герцогини, но для других многих его царского величества нужнейших дел, которые гораздо того нужнее, и ежели его из Курляндии отлучить для одного только вашего дела, то другие все дела станут, и то его величеству зело будет противно..."

"Ну, я говорил, что сегодня всё будет хорошо – так оно и есть, – подумал Бестужев. – А всё оттого, что с дочерью поступил сегодня как следовало".

Похвала и доверие, выраженные в указе, были, разумеется, ему приятнее всего остального.

– Так видишь ли, Пётр Михайлович, – продолжала герцогиня, – я вот и рассуждаю, что ты – человек хороший, и государю здесь нужный – значит, мы с тобою будем лучше жить в мире... Что ж ссориться?.. Я ссор терпеть не могу...

И долго ещё Анна Иоанновна говорила Бестужеву о своей всегдашней приязни к нему и откровенности, но он только делал вид, что слушает её внимательно, а на самом деле милостивые слова указа не выходили у него из головы и мешали ему понимать и слушать.

Черемзин, предупредив Петра Михайловича, по поручению герцогини, об её посещении, не сейчас уехал из дома Бестужева, но спустился вниз, в его канцелярию, где давно был своим человеком. Он направился прямо, без доклада, в комнату к своему секретарю, однако тот встретил его не особенно дружелюбно. Секретарь не любил Черемзина за его постоянные шутки, оскорблявшие достоинство чиновного звания.

– Что, пан Щебрыца-Рыбчицкий, всё пишете? Вы бы погулять сходили, пока тепло на дворе, – заговорил Черемзин, садясь без стеснения.

Секретарь действительно носил фамилию "Щебрыца-Рыбчицкий" и был польского происхождения; но это происхождение было так отдалённо, что он считал себя русским и морщился, когда его называли "паном". Кроме того, Черемзин всегда с таким трудом выговаривал его фамилию, что это тоже было очень неприятно.

– Истинно всем сердцем рад погулять, да натуральная невозможность не позволяет, – ответил секретарь, стараясь говорить как можно важнее и, откинувшись на спинку кресла; склонил набок своё бритое, пухлое лицо. Черемзин, прищурясь, смотрел на него.

– Что же, всё дела задерживают?

– Дела, всеконечно... С чем к нам изволили пожаловать из замка? – спросил со вздохом секретарь, видимо, желая поставить разговор на серьёзную почву.

– С известием.

Рыбчицкий поднял брови и замер, не донеся до носа щепотки табака, которую только что взял, топыря пальцы, из своей золотой табакерки.

Черемзин поспешно достал из кармана тоже табакерку и, растопырив пальцы, в свою очередь застыл в точно такой же, как секретарь, позе.

Рыбчицкий недовольно дёрнул рукою, втянул носом табак и чихнул.

– Будьте здоровы! – сказал Черемзин.

– Благодарствен, – резко ответил секретарь: казалось, он обиделся.

Но Черемзин, как бы не замечая этого, стал рассказывать о возвратившейся из Вирцау герцогине. Лицо Рыбчицкого прояснилось. Новость была для него очень интересна. Однако посредине рассказа

Черемзин вдруг быстро взглянул в окно, выходящее в сад. Там мелькнуло голубое платье камеристки Аграфены Петровны.

– Пан Щебрыца-Рыбчицкий, вы видите? – торжественно произнёс он, указывая в сад.

Секретарь взглянул в окно.

– Пойдёмте в сад! – предложил Черемзин.

– На такие дела не гораздо я сведом, – возразил Рыбчицкий. – Так вы говорите, что герцогиня...

Но Черемзин уже не ответил ему. Он преспокойно сел на какие-то бумаги на подоконнике, перекинул за окно ноги и, спрыгнув в сад, скрылся в густой зелени. Пан Рыбчицкий сердито хлопнул окном ему вслед.

Черемзин скоро нагнал Розу: он не брезговал никакою "авантюрой".

Роза встретила его, как знакомого, сказав:

– А я знала, что господин ещё не уехал.

– И нарочно вышли в сад?

– Да, у меня есть к вам дело.

– Вот как! Серьёзное? – спросил Черемзин, садясь на деревянную скамейку. – Ну, говорите! Здесь нас не увидят и не услышат...

– Не так ещё скоро... Мне нужно знать, что мне за это будет?

– Поцелуй.

– Я с вами хочу говорить серьёзно, а так не буду, – обиделась Роза. – Вы мне должны сделать подарок...

– Так это – серьёзное дело, по-вашему? Ну, какой же это подарок?

– Розовую косынку, шёлковую... а затем – будет дело...

– Роза! шерстяной довольно! – с пафосом произнёс Черемзин, прикладывая руку к сердцу.

– Нет, и шёлковой мало. Ведь вы – друг князю... князю, – и она по-своему, по-немецки, перековеркала фамилию Волконского.

Черемзин недоверчиво взглянул на неё и сказал уже серьёзным голосом:

– Если то, что вы скажете мне, будет очень важно, Роза, то вы получите две косынки и платье... Говорите!

– Это правильно, – согласилась Роза и начала подробно рассказывать всё, что происходило сегодня утром в уборной её госпожи, когда туда пришёл Пётр Михайлович.

Черемзин внимательно слушал и несколько раз переспрашивал.

– Значит, он так и сказал: "Выбирай себе кого хочешь... я благословлю"?

– Так и сказал, – подтвердила Роза.

– Ну, так знаете ли что, Роза, ступайте теперь в дом, там должна теперь быть герцогиня, и, как только она уедет, придите мне сказать.

Едва герцогиня уехала, Черемзин велел доложить о себе, и Пётр Михайлович сейчас же его принял.

Черемзин вошёл к Бестужеву своею особенною походкой вперевалку, с которою танцевал польский, и церемонно, по правилам французских танцмейстеров, проделал фигуру изысканного поклона. Он был чрезвычайно серьёзен и важен.

– Чем могу служить? – обратился к нему Пётр Михайлович, указывая на кресло.

Черемзин поклонился ещё раз и сел.

– Пётр Михайлович, – начал он, – я являюсь к вам не по собственному, но тем не менее очень важному делу...

"Все дела станут и то его величеству зело будет противно", – вспомнилось Бестужеву ещё раз слова указа.

– Какое же это дело? – улыбаясь, спросил он.

– Я являюсь к вам, Пётр Михайлович, сватом от лица моего друга, князя Никиты Фёдоровича Волконского... Он любит вашу дочь Аграфену Петровну и от вас, разумеется, зависит его счастье...

Бестужев долго не отвечал. Он сидел молча, как бы обдумывая, точно услышал в первый раз о Волконском.

Черемзин знал, что приличие не позволяет Петру Михайловичу сразу согласиться на предложение, но из рассказа Розы он знал также, что отказа не будет, и, потому ждал с серьёзностью и терпением.

– Благодарю князя Никиту за честь, – заговорил наконец Бестужев, – но Аграфена ещё молода и ей хорошо при отце...

– Ваша воля, – согласился Черемзин.

– Конечно, я не стану неволить дочь, и если она будет согласна... Я подумаю, поговорю... Да и князь Никита молод...

– Молодость – не порок в таком деле, как любовь, – ответил Черемзин.

– Конечно, но всё-таки мне, как отцу, нужна осмотрительность. Прошу вас и князя Никиту пожаловать сегодня к ужину.

– Почтём сие приятнейшим долгом, – заявил с новым поклоном Черемзин, окончательно входя в роль свата.

Он не сговаривался с Волконским о сватовстве. Мысль пойти к Бестужеву и просить для князя Никиты руку его дочери родилась у него совершенно внезапно во время разговора с Розою. Он видел, что его приятель без ума влюблён в Аграфену Петровну, что она, со своей стороны, более чем благосклонна к нему, и, узнав о разговоре Петра Михайловича с дочерью, решил, что нельзя упускать сегодняшний день, во всех отношениях благоприятный для сватовства. Бестужев после посещения герцогини не мог отказать. Этот расчёт оказался совершенно верным.

Слома голову летел Черемзин в своей одноколке в замок, погоняя кучера, чтобы скорее обрадовать ничего не знавшего и не ожидавшего Волконского. Он желал поразить его неожиданною радостью. Но оказалось, что князь Никита сам поразил его, Черемзина, такою неожиданностью, что тот развёл лишь руками. Черемзина встретил в замке слуга Волконского Лаврентий, встревоженный и растерянный.

– Где князь? Что случилось? – беспокойно спросил Черемзин.

– Князь наш, – Лаврентий покачал головою, – я уже давно собирался доложить вам... с тех самых пор, как вы их к немцу старому в гости с утра возили – вот из черепа, прости Господи, пьёт... с тех уже пор я стал замечать неладное...

– Да теперь-то что с князем? – нетерпеливо перебил Черемзин.

Но обстоятельный Лаврентий, по привычке рассказывать всегда всё по порядку, продолжал, не торопясь:

– Как съездил князь туда, так совсем голову потерял. Я сколько раз

докладывал ему: "Хоть и много ты, князь, книжек читаешь, а всё меня бы послушал. Опоили его там, должно быть. По ночам спать совсем перестал... есть-пить не хочет и всё сам с собою разговаривает... Вам не видно, а я-то смотрю... И так до сегодняшнего дня всё больше и больше. А сегодня, как вы уехали в город, князь призвал меня и говорит: "Лаврентий, собери все мои вещи и с ними поезжай на лошадях за мною, а я сейчас верхом уеду. Где меня нагонишь, там и хорошо, а я больше так жить не могу". И не велел вам об этом сказывать. "Напишу", – говорит, и уехал.

– Уехал? – воскликнул Черемзин. – Уехал верхом и не вернётся?.. Да что ж это?!

– Говорю вам, опоили его, – серьёзно повторил Лаврентий.

– Лошадь мне! – крикнул Черемзин. – Лошадь! Авось нагоню!

И сам побежал на конюшню торопить конюха.

Х. А ДЕНЬ ВСЁ-ТАКИ СЧАСТЛИВЫЙ

Черемзин отлично знал окрестности Митавы и давно привык к разбросанным в полях и лугах отдельным крестьянским домикам, не соединённым, как в России, в деревни и села, но построенным вдали друг от друга. Эти чистенькие выбеленные дворы мелькали красивыми пятнами в зелени лугов, оживляя вид и придавая ему непривычную для русского глаза особенность.

Черемзин без усталости летел от одного двора к другому, расспрашивал и разузнавал, не видел ли кто-нибудь Волконского, и подробно описывал его приметы. Наконец ему удалось напасть на след князя Никиты. Ему объяснили, что какой-то благородный господин верхом действительно проезжал здесь сегодня по направлению замка Освальд.

Черемзин без дороги прямо по полю направился к замку, и поиски его не оказались напрасными. Там, у опушки леса, сидел на пригорке Волконский, задумчиво смотря вдаль. Лошадь князя паслась тут же, непривязанная. Князь Никита сидел с застывшею, блаженною улыбкою на губах и счастливыми, ясными глазами смотрел перед собою на

убранные поля и скошенные луга с их беленькими домиками и прислушивался к шёпоту листьев шелестевшего сзади него леса, ещё не тронутого дыханием приближавшейся осени.

"Все они такие – влюблённые", – подумал Черемзин.

– Князь Никита, а, князь Никита! – окликнул он. – Будет, брат, довольно, домой ехать пора!

Никита Фёдорович спокойно перевёл взор на Черемзина. Ему казалось, что он видел, как подъехал Черемзин, и он не обратил никакого на это внимания.

– Это ты? – спокойно спросил он.

– Ну да, я, – ответил Черемзин, слезая с лошади.

– Черемзин, ты любил когда-нибудь? – вдруг спросил князь Никита.

– И много раз... Что ж из этого?

– Помнишь, ты мне как-то говорил, что стоит только наблюсти – и много можно найти интересного вокруг себя.

– Не помню.

– Ты посмотри, вот видишь это дерево?

– Вижу! – сказал Черемзин, не поворачивая головы.

– Ну, вот что я думаю. Вот я живу здесь, на земле, и проживу ещё, может быть, ну, пятьдесят лет... Это – самое большее... И в каждую минуту этой жизни, стоит мне лишь захотеть, и я это дерево могу срубить, уничтожить... А может и так случиться, что это дерево, которое вот теперь совсем в моей власти и которое ничего, понимаешь, н и ч е г о не может мне сделать, переживёт меня на сотни лет... и мои правнуки могут увидеть его, да, пожалуй, и праправнуков переживёт... И выходит, что я ничтожнее дерева...

– С чем тебя и поздравляю, – вставил Черемзин.

– Ну, а на самом деле это вовсе не так, – продолжал Волконский, – потому что я могу любить... и люблю... и в этом – всё, а остальное – вздор, и дерево – вздор... И, раз я могу любить, значит, не умру, потому что дух, которым я чувствую свою любовь, не погибнет, не может умереть, а в этом – весь я... суть-то моя в этом духе... Ты понимаешь

меня?

– Всё это хорошо, – заговорил Черемзин, приподнимаясь на локоть, – но скажи, пожалуйста, с чего ты вздумал удирать из Митавы? Кто тебя погнал оттуда?

– Кто погнал?.. Я сам уехал.

– И не вернёшься?

– Не вернусь.

– Отчего ж это?

– Так... не вернусь.

– Знаешь, – начал Черемзин, качая головой, – я много видел вашей братаи, влюблённых, но такого, как ты, ещё не встречал... Это уж что-то совсем занятное чудачество. Ты мне прямо отвечай: раздумал, что ли, жениться на Аграфене Петровне?

Князь Никита не отвечал.

– Да говори же, наконец! – крикнул Черемзин.

Волконский грустно, но с тою улыбкою, с какою обращаются к детям, говорящим неразумные вещи, посмотрел на него и вздохнул.

– Этого не может быть... это невозможно, – проговорил он, как будто дело было уже решено бесповоротно.

– Да отчего? Отчего? – настаивал Черемзин.

– Оттого, что это было бы слишком большое, не человеческое счастье, не здешнее, не земное!.. Это вот когда дерево переживёт меня...

Поняв наконец, что князь Никита обратился в бегство единственно вследствие решения, что счастье было бы слишком велико и потому невозможно, Черемзин посмотрел на него и разразился весёлым, неудержимым смехом.

Волконский глядел на него удивлённо-испуганно, не понимая, что можно было найти смешного в таком глубоком и серьёзном для него деле. Наконец, никто не имел права смеяться над ним и над его чувством. Очевидно, Черемзин, не перестававший хохотать, раскачиваясь всем корпусом, позволял себе слишком многое.

– Да что ж это ты? – крикнул в свою очередь князь Никита, – обезумел,

что ли? Наконец, это просто обидно... Как ты смеешь смеяться?

– Постой... не сердись! – сдерживаясь, старался выговорить Черемзин. – Сейчас заговоришь другое... Слушай!.. Я сегодня был у Петра Михайловича сватом от тебя...

– Что-о! Ты, сватом, от меня, у Петра... Петра... – Волконский вскочил, схватясь за голову руками. – Да кто тебя просил?.. Как же ты смел!.. Что ж ты наделал?.. а-а-а?..

Он казался в эту минуту таким испуганным, несчастным, что Черемзин невольно испугался, взглянув на его побледневшее, внезапно осунувшееся лицо.

– Да нет же, – подхватил он, – не отказал: Пётр Михайлович позвал нас ужинать... сегодня на ужин позвал!.. Понимаешь?

Волконский несколько секунд стоял без движения, точно слова друга не сразу долетели до него. Потом он вздрогнул всем телом, отнял руки от головы и как-то растерянно смотрел на Черемзина.

– Что ты говоришь?.. сватом... позвал... на ужин?.. и это – правда?

– Правда, правда, – твердил Черемзин.

– Голубчик! – вдруг вырвалось у князя Никиты, и он кинулся на шею Черемзина. – Что ж ты молчишь до сих пор? Ведь мы опоздаем, опоздаем!.. Господи, да беги же, торопись, а то поздно будет!

И он бежал уже к своей лошади, спотыкаясь и задевая за кочки.

Черемзин медленно, как бы любуясь доставленной им другому человеку радостью, следовал за ним.

Несмотря на неодолимое желание узнать от Черемзина подробнее обстоятельства сватовства, Волконский не расспрашивал его дорогою, единственно заботясь о том, чтобы не опоздать. Он всё ещё боялся верить в возможность своего счастья и гнал лошадь так, что Черемзин едва поспевал.

В одноколке, по дороге из замка в город, Черемзин рассказал всё Никите Фёдоровичу.

У Бестужева оказался парадный званый ужин. Вся митавская знать была приглашена и явилась как один человек, потому что весть о внезапном

посещении герцогини, которая, очевидно, приезжала мириться с Бестужевым, быстро разнеслась по городу. Все думали, что Пётр Михайлович своим ужином желает отпраздновать торжество своей победы над Анной Иоанновной.

Среди этих знатных почётных чиновников и частных, но родовитых немецких персон оказалось только двое молодых людей: Черемзин и Волконский. С их появлением общее внимание было обращено на них. Гости стали перешёптываться и высказывать свои соображения.

Волконский положительно не помнил, как он вошёл, как здоровался, и не соображал даже, ходит он или сидит; ему казалось, точно он приподнят на воздух и его носят какие-то невидимые, нежные руки.

Аграфена Петровна встретила его с приветливою, радостною улыбкой.

"Знает она или не знает? – спросил про себя князь Никита, целуя ей руку. – Наверно, знает", – решил он, чувствуя, как похолодела и дрожит её рука.

Черемзин заговорил что-то, как ни в чём не бывало, будто не произошло ничего особенного. Волконский смотрел вокруг себя, широко и блаженно улыбаясь; но куда бы он ни смотрел, отовсюду ему была видна его Аграфена Петровна, милая и любимая. Она тоже будто слушала Черемзина, но князь Никита знал, что она также видит только его и думает о нём, и всё кругом получало для него новую красоту и прелесть.

Большая гостиная Бестужева, та самая, где так недавно князь Никита стоял затерянным в толпе перед чёрным доктором, казалась теперь совсем иному. Никите Фёдоровичу ясно вспомнился этот вечер.

"Выше всех людей!" – прозвучали в его ушах слова доктора.

За ужином Волконский сидел рядом с молодою хозяйкою. Ужин тянулся долго, но ему казалось, что время летит так быстро, что он просто не успеет наглядеться на свою радость, ангела, счастье, как он мысленно называл Аграфену Петровну, не находя достаточно ласковых слов.

В конце ужина в хрустальные бокалы налили французское шипучее вино, и Пётр Михайлович, высоко подняв бокал, крикнул:

– За здоровье царя Петра!

Гости встали и тотчас начали подходить к хозяину, чокаясь с ним. Заиграла музыка, и раздались приветственные клики.

– Уррааа! – кричал Волконский.

– За здоровье хозяина! – провозгласил старший оберрат.

– Уррааа! – подхватил Волконский. – Ваше, ваше здоровье! – подошёл он к Аграфене Петровне и залпом допил вино. – Видите, до последней капли, – сказал он, опрокидывая бокал и показывая, что там действительно нет ни капли. У Аграфены Петровны вино было на доньшке.

– И я за вас последнюю капельку; видите? – проговорила она, осушая бокал.

"Я... за вас... последнюю капельку"... Господи! Я с ума сойду!" – радовался князь Никита.

К ним подошёл Черемзин и хотел чокнуться с ними.

Пётр Михайлович во время ужина изредка поглядывал на дочь и на Волконского, и каждый раз взгляд его становился серьёзен и даже строг.

Черемзин ждал от него ответа, но Бестужев медлил.

"Когда же наконец он поздравит жениха с невестой?" – думал Черемзин.

Однако ужин кончился, и гости, встав из-за стола, перешли в гостиную, но вопрос Черемзина оставался неразрешённым.

После ужина случилось как-то само собою, что Волконский остался один с Аграфеной Петровной в её маленькой гостиной; они незаметно прошли туда и за ними никто не последовал, точно понимая, что нельзя мешать их радости.

Впрочем, теперь развеселившиеся от вина гости, сплочённые общим за ужином разговором о политических новостях дня и увлечённые затем интересом этих новостей, занялись сами собою, так что большинство из них не заметило исчезновения Бестужевой. О Никите Фёдоровиче тоже забыли эти солидные, не подходившие к нему ни по возрасту, ни по положению, люди.

– Помните, – сказал Волконский Аграфене Петровне, – тот вечер у вас, когда мне, затерянному, неизвестному и не замеченному вами, было

предсказано, что я буду выше всех людей?

Бестужева взглядом и улыбкою отвечала, что помнит.

– У меня вот так и стоит пред глазами этот чёрный доктор... Может быть, сегодня окажется, что он был прав.

– Вы получаете назначение... вас заметили из Петербурга? – спросила, более прежнего оживляясь, Аграфена Петровна.

– Нет, дело не в том; разве вы не знаете, что Черемзин приезжал сватом от меня к Петру Михайловичу, вашему батюшке?

– Когда? – спросила Бестужева, меняясь в лице.

– Сегодня, и он нас позвал к ужину, и, может быть, сегодня решиться моя судьба, и я буду выше всех людей – буду иметь право назвать вас своею пред ними.

Аграфена Петровна смущённо и стыдливо опустила голову. Сияющая улыбка исчезла с её губ, над бровями появилась строгая, серьёзная складка; казалось, вот-вот слёзы брызнут из её глаз. Она до сих пор не знала, что произошло утром.

– Что ж? Не рады? Плачете? – беспокойно произнёс Волконский, смущаясь в свою очередь.

Она подняла на него взор, и её глаза были так ясны, так радостны, так много было в них счастья для Никиты Фёдоровича, что он снова преобразился, теряя рассудок и соображение. Аграфена Петровна протянула ему руки; он стал целовать их.

– Не думайте, однако, – прошептала она, – что предсказание сбылось сегодня, нет! Пусть я буду ваша, но вы, если любите, должны быть в самом деле на высокой ступени. У вас есть возможность; старайтесь, добивайтесь и добьётесь! Мы будем вместе добиваться: нам нужно далеко пойти – я этого требую... я так хочу... Я не могу и не должна остаться в неизвестности бюргерской жены, мой муж станет не в уровень с остальными.

Всё, что она говорила теперь, казалось Никите Фёдоровичу прекрасным, и при каждом слове её он только улыбался, видимо, соглашаясь со всем. Она верила в него, она любила его и радовалась его ласке.

– Посмотрите, какими складками легла эта занавеска, точно сборки на платье! – сказала вдруг Аграфена Петровна, показывая на жёлтую шёлковую занавеску у окна.

– Ну, что ж такое? – ответил Волконский, не понимая, что хотела она сказать.

– Герцогиня была в таком же платье, – пояснила Бестужева, – тогда, у нас на балу...

Она замолчала и задумалась.

Волконский улыбнулся, вспоминая этот бал, но Аграфена Петровна казалась серьёзною.

– Ведь и ей было предсказание, – продолжала она в раздумье, – и если оно сбудется, то о н а не простит... Она отомстит нам...

– Ну, что загадывать о будущем, когда всё теперь хорошо и ясно! – перебил её князь Никита.

Пётр Михайлович, разумеется, давно заметил, что его дочь сидит с Волконским у себя в гостиной, но не мешал им, как будто занятый участием в общем разговоре и всецело, как радушный хозяин, поглощённый своими гостями. Однако не спускавший с него глаз Черемзин видел, как он посматривал на опущенные занавесы жёлтой гостиной. Он видел также, как наконец Бестужев с решительным видом направился туда и вслед затем появился у дверей, держа за руку дочь и Волконского.

Все, притихнув, обернулись в их сторону.

В это время из других дверей показались слуги с подносами, уставленными бокалами вина.

– Господа, – дрогнувшим голосом проговорил Пётр Михайлович по-немецки, потому что большинство присутствующих были немцы, – представляю вам жениха и невесту.

Старый бестужевский дворецкий грохнул, по русскому обычаю, свой поднос на пол. Хрусталь зазвенел и задребезжал, разлетаясь на куски; гром музыки заглушил всё. Гости спешили поздравить наречённых.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

"Ты защищал, Господи, дело души моей; искуплял жизнь мою".

Плач Иеремии, III, 58.

I ПРОШЛОЕ

Четырнадцать лет тому назад была отпразднована свадьба Волконских. Князь Никита, женившись на своей милой и любимой Аграфене Петровне, остался в Митаве; он с царского соизволения был освобождён от дальнейшего путешествия за границу и поступил на службу в канцелярию своего тестя Петра Михайловича. Ответственное положение Бестужева в Курляндии требовало очень хитрой деятельности и большого искусства. Русскому резиденту приходилось бороться с несколькими враждебными течениями, чтобы иметь преобладающее влияние на своей стороне. И Пётр Михайлович боролся не без успеха. Дело было, видимо, важное, сложное, оно касалось жизни самостоятельного маленького государства, по всем признакам находившегося почти накануне своего присоединения к единому из трёх более сильных, чем оно, соседей, и весь вопрос заключался в том, кто окажется победителем: Россия ли, к царствующему дому которой принадлежала вдовствующая герцогиня Анна; Польша ли, считавшая Курляндию своим ленным владением [8] , или Пруссия?

У князя Никиты через год после свадьбы родился сын Миша.

Волконский был счастлив своею жизнью и ничего не желал больше. Он обожал Аграфену Петровну и сына, они были с ним, и весь мир, вся суть его жизни сосредоточивалась в этих двух существах, и вне их ничего не существовало для Никиты Фёдоровича.

Для вышедшей замуж Аграфены Петровны внешняя жизнь в Митаве сначала мало изменилась. Но вскоре она не могла не заметить, что из дочери первого в Курляндии лица она стала просто женою молодого человека – правда, русского князя, но не сумевшего приобрести никакого значения в том обществе, где они находились, и упорно

удалявшегося от этого общества. Это чувствовалось, и она знала, что многие понимают это. К тому же её отец сблизился с герцогиней, и почва прежнего положения в Митаве уходила из-под её ног. Муж её не хотел служить в канцелярии, и с этим она согласилась, хотя у неё были совершенно иные причины, чем у князя Никиты: митавская канцелярия казалась слишком незначительным местом для того, чтобы выдвинуться, служа там.

Аграфена Петровна любила мужа и из частых разговоров с ним видела, что с его способностями можно пойти далеко; она часто думала о будущем, по-своему, с надеждами на это будущее, ожидая, что оно придёт ещё радостней и лучше и что судьба вечно будет улыбаться ей, как улыбалась до сих пор.

Малолетство сына привлекло её к ребёнку, и она стала заниматься им, проводя время дома. Это были самые счастливые дни для князя Никиты. Но Аграфена Петровна жила, кроме настоящего, ещё мечтая о будущем, и думала о Петербурге, о большом дворе, о значении, которое может иметь со временем Никита Фёдорович.

Она чаще стала заговаривать с ним о новой русской столице, звала его в Петербург, требовала от него работы и деятельности, говорила, что так жить нельзя, и приводила в пример своих братьев, которые занимали уже видные посольские места.

Никита Фёдорович старался объяснить ей свой особенный план жизни, в котором на первом плане стояло воспитание сына и затем усовершенствование. Он был уверен, что, сокращая свои желания и расходы на себя, он может отдавать излишек другим, и ради этих же других, чтобы по мере своих сил принести им возможно больше пользы, занялся медициной и с упорством и терпением стал изучать эту науку.

Аграфена Петровна никак не могла согласиться, что "воспитание" сына может составить какое-то особенное "дело". Ей казалось, и это было так обыкновенно и просто, что мальчик вырастет под их присмотром, они научат его чему следует, и всё это будет незаметно, само собою, и говорить об этом с т а к о й важностью вовсе не следует. Относительно

расходов для других Аграфена Петровна возражала мужу, что их достаток вовсе не так велик, чтобы можно было делать это, и что у него есть жена и ребёнок, о которых он должен думать и заботиться. Узнав о медицине, она сначала очень испугалась. Она находила, что быть лекарем вовсе не княжеское дело, даже неприлично для её мужа; но когда Никита Фёдорович пояснил ей, что и не думает стать лекарем, врачующим за деньги, а хочет именно помогать только ближнему по мере сил, – она успокоилась и всё-таки не увидела в мужниной медицине "серьёзного дела", хотя не была против этих занятий, которые казались ей так, между прочим, не лишними, но и не особенно нужными. В её глазах настоящее было всё-таки в канцелярии, и она звала его на службу в Петербург.

Аграфена Петровна была убеждена, что в ней говорит только желание блага, что при всей своей любви к мужу она не может поверить в его рассуждения и что т а к, как она хочет, будет лучше, и сам Никита Фёдорович увидит это впоследствии. Но Волконский стоял на своём, то есть продолжал быть по-прежнему ласковым и милым, но никогда сам не заводил разговоров о Петербурге, когда же Аграфена Петровна заговаривала об этом – начинал по-своему убеждать её, и ей становилось неприятно и боязно.

"Да что он в самом деле? – думала она. – Он считает меня глупее, неразумнее себя, вот что... Разве я, наконец, не могу понимать, что лучше и что хуже? Время идёт, а мы здесь, в глуши (теперь, когда она была княгиней Волконской, Митава казалась ей глушью), ничего не делаем, живём, не зная зачем, а время проходит, лучшее время!"

Она зажмуривала глаза и представляла себе Петербург большим богатым городом, где всё великолепно и где можно было выделиться и стоило поработать над этим.

Такие минуты стали чаще и чаще находить на неё, когда она оставалась одна со своими мыслями, и, наконец, стали переходить в какое-то томительное состояние гнетущей тоски, от которой нельзя было найти себе места.

"Что с нею? – спрашивал себя князь Никита, видя холодный, "не живой" для него взгляд, которым она иногда так зло и гордо смотрела на него в последнее время. – Не больна ли она?"

Он попробовал спросить Аграфену Петровну: не нездоровится ли ей. Она рассердилась.

– Я здорова! Терпеть не могу, когда меня спрашивают так – всегда что-нибудь случится потом! – ответила она, в упор, не улыбаясь, смотря на него. – И что за охота думать, что все больны?

Она знала, что намекает этим на занятия мужа медициной, что это будет неприятно ему, но ей именно хотелось сделать ему больно.

Никита Фёдорович взглянул на неё, как-то страдальчески улыбаясь, и эта улыбка ещё более рассердила Аграфену Петровну.

"Он смеётся надо мной!" – решила она. И вдруг ни с того ни с сего наговорила мужу самых обидных слов, самых обидных вещей, которые, она знала, будут ему особенно неприятны.

После этого разговора Никита Фёдорович несколько дней ходил задумчивый и почти не занимался своими книгами.

Аграфена Петровна первая пришла к нему просить прощения. Она чувствовала себя виновною пред мужем за то, что оскорбила его, но вместе с тем ей, виноватой, казалось, что теперь Никита Фёдорович был более чем когда-либо не прав пред нею, за свои мысли и поступки.

Они помирились. Однако князь Никита видел, что душевное состояние жены не изменилось после примирения, задумчивость не исчезла с его лица, и он не вернулся к своим книгам. Он теперь подолгу шагал из комнаты в комнату, не спеша, не торопясь, и часто заходил к сыну, играл с ним и был особенно ласков и нежен.

– Ты точно п р е д о т ъ е з д о м прощаешься с домом, – заметила Аграфена Петровна.

Она опять была в своём состоянии угнетения.

Волконский, не ответив, только внимательно посмотрел на неё, и она видела, что он понял, что она хотела сказать вместо "пред отъездом" – "пред смертью", но удержалась.

В конце концов князь Никита уступил жене. Однако, сидя за обедом, он после долгого молчания сказал, как бы думая вслух:

– Если бы ты знала только, что мы теряем, что мы теряем!

На другой же день начались сборы, а через две недели Волконские уехали в Петербург.

Аграфена Петровна ожила, точно всё прежнее вернулось к ней, и сборы в дорогу, сама дорога, несмотря на все её неудобства, приезд в столицу, разочарование ею, как городом, ещё неустроенным и далеко не столь пышным, как воображала Аграфена Петровна, встреча с родными, знакомства, – всё это прошло, как счастливое сновидение.

Волконский будто сам оживился, словно теперь и он был согласен, что так действительно будет лучше.

II В ПЕТЕРБУРГЕ

Не стало императора Петра, и Меншиков при помощи гвардии возвёл на престол его супругу Екатерину. На российском троне в первый раз появилась женщина, сделавшаяся самодержавною государыней. Конечно, это было крупное событие и об исторической важности его впоследствии было и, вероятно, будет ещё много написано; однако оно вовсе не имело такого значения для современников, на глазах которых произошло тогда. Никто не заботился о том, будет ли продолжено начатое Петром дело преобразования, или со смертью его умрёт всё сделанное им, как следствие одной его личной воли, или напротив, будет развиваться, как нечто такое, к чему Россия уже давно была подготовлена и лишь ждала, чтобы стать на тот путь, куда вывел её великий император.

Для людей; бывших свидетелями этого события, неминуемо смешивались личные их мелкие интересы с тем, что происходило и что имело историческое значение. Главным образом тут важно было для них, как именно сами они попадут под подымающуюся волну – захлестнёт ли она их или поможет выплыть, общая же форма волны осталась, разумеется, для них незаметною. Ясно стало, что значение Меншикова, сильного при Петре, теперь ещё увеличится, и он, счастливый баловень судьбы,

пробившийся из неизвестности, будет, безусловно, первенствующим лицом.

Старинные русские роды, в числе которых стояли Голицыны и Долгоруковые, оказались недовольными. Также много было недовольных и среди чиновников, которых Меншиков, занятый главным образом войском, забыл или обошёл. Недовольные, соединяясь, мало-помалу стали кристаллизироваться в кружки, и из них образовалась партия великого князя Петра, десятилетнего сына царевича Алексея Петровича.

Имя царевича с его несчастною судьбою и упорным, молчаливым противодействием новшества отца явилось теперь как бы знаменем противного Меншикову лагеря и делало великого князя лицом, с которым невольно соединялись надежды недовольных. К тому же великий князь, как единственный потомок мужского пола из всего царского рода, имел гораздо более прав на корону, чем Екатерина, и все понимали, что женщина пока только устранила ребёнка от престола, но что настанет время, когда этот ребёнок вырастет.

Для Волконских всё это произошло наряду с хлопотами об устройстве их дома, который они строили себе на Васильевском острове (императорским указом было запрещено нанимать помещения). Князь Никита всё сделал для жены: переехал на житьё в столицу, отделал там дом, несмотря даже на то, что для этого пришлось войти в долги, но не хотел изменить свои привычки и по-прежнему остался нелюдимым, несообщительным, хотя дал княгине Аграфене полную свободу поступать, как ей заблагорассудится.

Умная, отлично образованная и владевшая несколькими языками, княгиня скоро собрала в своей гостиной целый кружок, в котором своими людьми стали бывать у неё Черкасов, кабинет-секретарь, сенатор Нелединский, Веселовский, Пашков, Егор Иванович, советник военной коллегия, и Абрам Петрович Ганнибал, известный приближённый покойного государя, его любимец арап.

Княгиня сразу сумела поставить себя в Петербурге и не потерялась там.

Сначала она не сразу могла определить, чего ей следовало, собственно,

добиться и кого держаться, но вскоре положение выяснилось само собою.

Великий князь – ещё ребёнок; нужно здесь заручиться и медленно, но прочно строить своё здание. Рано или поздно он взойдёт на престол, и об этом-то времени нужно думать и рассчитывать на него. Сестра великого князя Наталья Алексеевна не только дружна с братом, но имеет огромное влияние на него: вот путь, который доведёт к желанной цели.

И Аграфена Петровна окружила себя людьми, противными Меншикову, и сделалась центром пока ещё небольшого кружка, собиравшегося в её гостиной. Вскоре в этой гостиной появился Маврин, воспитатель великого князя.

Апрель 1726 года был беспокойным месяцем в Петербурге. Две недели не собирался уже Верховный тайный совет, государыня была встревожена подмётными письмами, и по городу снова ходил слух, впрочем, уже не раз напрасно возникавший, но тем не менее всегда производивший впечатление, о том, что князь Михаил Михайлович Голицын двинулся на Петербург со своею украинскою армиею.

Как всегда, когда людям что-нибудь очень хочется, они охотно придают веру и значение всему, что мало-мальски соответствует их желаниям, так и теперь многие в Петербурге думали, что они накануне великих событий, и высчитывали по пальцам шансы борьбы.

– Извольте вспомнить, – кричал Веселовский в гостиной Аграфены Петровны, – кто у н и х есть?.. Толстой граф – хорошо, Апраксин – ну, генерал-адмирал, да ведь стар, стар до того, что всё равно что ничего; и остаются Меншиков да герцог Голштинский.

– А ведь какую волю герцог-то взял – и в совете сидит, и через него всё идёт, – вставила Волконская.

– Что поделаете, княгиня? – отвечал ей, разводя руками, Нелединский. – Он – муж старшей дочки её величества; не станете же спорить с ним! – и он насмешливо улыбнулся.

– Да сам Меншиков уже предупредил вас, – возразил Веселовский, как будто на самом деле-то они собирались уже спорить с герцогом. – Он не может простить ему предательство в совете.

– Так, значит, у них уже пошли размолвки в середе? – заметил Нелединский, снова улыбаясь.

– В том-то и дело, – подхватил Веселовский, не замечая, что тот умышленно упомянул середу, потому что Тайный совет собирался обыкновенно по середам.

Но Аграфена Петровна поняла и улыбнулась.

Ганнибал сидел по своему обыкновению в углу, на своём излюбленном месте, с крепко стиснутыми на груди руками, и молчал, изредка лишь вставляя свои замечания.

– Ну, а Феофан, – сказал он, – этот поневоле будет на их стороне. Великий князь ему не простит "Правду воли Монаршей".

– Что, что?.. Феофан? – опять загорячился Веселовский. – А дело Маркелла? Нынче Маркелл обвиняет его в Преображенской канцелярии. Нет, он не страшен!

– Гвардия, гвардия страшна! – как бы про себя проговорил Черкасов, ходивший по комнате с серьёзным лицом и опустив голову.

Но для Веселовского, видимо, не существовало никаких препятствий.

– А украинская армия? – воскликнул он. – Князь Михаил Михайлович двинулся, и уж на этот раз оно верно.

– Да, кажется, что двинулся, – подтвердил Нелединский, – пора ему...

Аграфена Петровна, довольная, что в её доме идёт как следует серьёзный разговор, сидела, удобно прислонившись к спинке дивана, и, одобряя улыбкой гостей, играла веером, который, по принятой ещё в Митаве моде, был весь покрыт автографами выдающихся лиц.

– Абрам Петрович, – обратилась она к Ганнибалу, – вы должны мне тоже написать на веере что-нибудь.

– Если вы меня признаете достойным, – ответил с поклоном арап и улыбнулся своими белыми, ровными зубами.

Абрам Петрович был очень нужный для Волконской человек, так как он, преподавая, по поручению государыни, математические науки великому князю, считался в числе его наставников и близких к нему лиц.

В это время лакей доложил о приходе Пашкова.

Пашков вошёл в гостиную, как свой человек, и, поздоровавшись, с улыбкой подал Аграфене Петровне грязный клочок грубой бумаги, сложенной в виде письма.

– Это что? – спросила княгиня, отстраняясь и брезгливо поднимая руки.

– Должно быть, подмётное письмо, – объяснил Пашков. – Я его у вас на крыльце нашёл.

– Вот нашли, куда подкидывать письма! – засмеялся Веселовский.

– Ах, это, должно быть, очень интересно! – сказала Аграфена Петровна, всё-таки не касаясь письма. – Прочтите же скорее!

Пашков развернул бумагу и стал читать:

"Известие детям Российским о приближающейся гибели Российскому государству, как при Годунове над царевичем Дмитрием учинено: понеже князь Меншиков истинного наследника, внука Петра Великого, престола уже лишил, а поставляют на царство Российское князя Голштынского. О, горе, Россия! Смотри на поступки их, что мы давно проданы!"

– А ведь ловко составлено! – заключил Пашков. – На народ может подействовать.

– Любопытно, кто этим занимается? – спросил Черкасов. – Видно, что человек не простой.

Пашков смял письмо и, подойдя к печке, бросил его туда.

– А вы знаете новость? – спросил он, поворачиваясь на каблуке и захлопнув заслонку. – Рабутин приехал.

Граф Рабутин, которого уже несколько времени со дня на день ждали в Петербурге, был посол Карла VI, императора римско-немецкого.

Глаза Аграфены Петровны заблестели, и лицо оживилось.

– Так что ж вы молчите до сих пор и не скажете? – заговорила она, придвигаясь к столу. – Когда он приехал? Откуда вы знаете это, кто вам сказал?

– Сам видел, сейчас, едуци к вам. Дом ему приготовили у Мошкова; проезжаю – вижу, зелёная карета стоит; гайдуки, кучера – тоже в зелень с белым одеты; ничего, красиво. Спросил, кто приехал, – говорят: Рабутин... вещи его вынимали.

– И много вещей? – осведомился Веселовский.

– Да, изрядно.

Аграфена Петровна задумалась с торжественной улыбкой на губах.

– Прие-хал! – протянула она.

– А отчего вы так интересуетесь им, княгиня? – спросил Пашков. – Я не знал, а то бы поспешил сообщить первым делом...

– Да как же не интересоваться? – наперерыв всем крикнул Веселовский.

– Ведь Пётр Алексеевич, со стороны своей матери, – родной племянник австрийской императрицы, – значит, Рабутин будет на стороне великого князя, а ведь это – сила!

– Хорошо бы с ним знакомство свести поближе, – заметил Нелединский.

– Что ж, это можно, я думаю, вот через Абрама Петровича или Маврина, – проговорил Черкасов, снова заходивший по комнате.

– Можно ещё легче и проще, – сказала Аграфена Петровна. – В первый же раз, как Рабутин будет у меня вечером, я приглашаю вас к себе...

Черкасов приостановился; остальные, как бы удивлённые неожиданностью, посмотрели на княгиню, и она наивно оглядела их, точно говоря:

"Ну да, Рабутин будет у меня, и тут нет ничего удивительного".

На другой же день весть о приезде Рабутина разнеслась по всему городу и отодвинула на второй план все остальные толки.

Городские рассказы и пересуды следили уже почти за каждым шагом австрийского посла. Казалось, узнали всю подноготную: каков он собою, сколько у него платья, слуг как он держит себя – и все отзывы были благоприятны. Впрочем, одного не могли узнать – самое главное – зачем явился Рабутин в Петербурге?

В придворных кружках говорили, как будто под секретом, но на самом деле желая, чтобы оно стало гласным, что австрийский посол приехал для заключения договора её величества с его царским величеством относительно турецких и иных дел, общих для обоих государств. Но этого было мало. У нас был свой представитель в Вене – Логинский: отчего он не мог заключить договор?

Стали следить за Рабутиным, к кому он поедет и с кем сведёт знакомство.

Рабутин, тотчас по своём приезде, был принят государыней частным образом, прежде торжественной аудиенции. Затем он был у великого князя и его сестры, потом объехал важных персон в Петербурге, безразлично, к какой бы партии они ни принадлежали, но у Меншикова был наравне с другими, не выделив его из числа прочих.

У крыльца дома княгини Волконской тоже видели зелёную карету австрийского посла.

Князь Никита, переселясь в угоду жене в Петербург, невзлюбил этого города, тонувшего, как ему казалось, в болотах. Он так и не мог отделаться от того ужасного, тяжёлого впечатления, которое произвели на него, – когда они подъезжали по топкой, глубоко засасывавшей колёса, дороге к Петербургу, – обезображенные тлением трупы лошадей, валявшихся по сторонам этой дороги. Дождливая, мрачная, сырая петербургская весна всегда оказывала на него удручающее действие. Приближения этого времени он ждал с внутренним безотчётным страхом. Он знал, что весна не обойдётся для него без страшных головных болей, которые аккуратно повторялись у него и мучили, точно какие-то твёрдые подушки неумолимо сдавливали ему виски и затылок.

Волконскому, который страдал теперь этими своими головными болями, было не до Рабутина и не до его приезда. Он уже недели полторы не выходил из своей комнаты, где сидел, поджав ноги, на диване, в халате и с обвязанной тёплым платком, наподобие чалмы, головою – единственным средством, которое помогало ему.

Аграфена Петровна привыкла к головным болям мужа, знала, что они пройдут, что ему нужно только отсидеться со своим платком на голове, и не беспокоилась. Она часто заходила к нему и спрашивала, не нужно ли чего. Никита Фёдорович – если это было во время приступа боли – обыкновенно махал рукою, чтобы она ушла, или – когда ему было легче – делал односложные вопросы, и княгиня садилась и рассказывала ему.

– Ты знаешь, – заговорила она в один из таких промежутков, – к нам

сюда приехал австрийский посланник Рабутин. Он нужен мне... и очень даже нужен, – добавила она, запинаясь.

Волконский, боясь пошевеливать голову, показал глазами, что понимает это и на всё согласен. На самом же деле ему было решительно всё равно.

– Ну, так вот, – продолжала Аграфена Петровна, – он уже был у меня утром, и мне нужно сделать для него вечер, пригласить своих – это необходимо.

Она остановилась и вопросительно посмотрела на мужа.

Он, не двигаясь, молчал, глазами только спрашивая: "в чём же дело?"

– Да я не знаю, к а к т е б е? Тебя это не беспокоит? Впрочем, ведь мы будем далеко от тебя, в гостиной, и тебе ничего не будет слышно.

– Ах, пожалуйста, что ж мне!... пожалуйста! – с трудом выговорил Волконский и, почувствовав от движения ртом приступ боли в голове, закрыл глаза и болезненно сморщил щёки.

– Что, опять? – тихим, соболезнующим шёпотом спросила жена.

Он только махнул рукою и застонал.

Аграфена Петровна осторожно, на цыпочках, вышла из комнаты.

Вечер княгини в честь Рабутина удался как нельзя лучше и был вполне блестящим. Съехалось почти пол-Петербурга, и в городе забеспокоились и заговорили о том, что могло быть общего между Аграфеной Петровной и Рабутиным, который, видимо, относился к ней очень внимательно. Мало того, после вечера он продолжал уже запросто посещать княгиню, и больной Никита Фёдорович, на свой обычный вопрос жене, кто был у неё сегодня, чаще и чаще стал получать ответ: "Граф Рабутин!" – так что, когда наконец Волконский отсиделся от своей болезни и вышел из комнаты, этот австрийский посланник, о котором он слышал то и дело, был уже и ему интересен.

– Познакомь же меня с твоим Рабутиным, – сказал он жене, к её удивлению, потому что очень редко интересовался теми, кто бывал у неё.

И в первый раз, как приехал Рабутин, она послала доложить об этом мужу.

Никита Фёдорович почему-то составил себе понятие о графе Рабутине,

как о семейном человеке, приехавшем с важным поручением, гордом и смотрящим несколько свысока, но умном и бывалом, с которым, может быть, будет интересно поговорить.

Из всей "компании" своей жены он любил беседовать только с Ганнибалом да имел некоторые сношения с Веселовским, который через своего брата, проживавшего в Лондоне, доставал князю кой-какие книги.

Однако, войдя в гостиную Аграфены Петровны, он увидел, что настоящий Рабутин вовсе не похож с виду на того Рабутина, каким он его представлял себе. Это был молодой человек, стройный и изящный, с красивыми, нежными чертами лица и изысканными манерами. Он так ловко встал и поклонился, так ловко сидел на нём белый гродетуровый французский кафтан с зелёными отворотами и так красиво на его белом шёлковом камзоле лежала зелёная орденская лента, что князь Никита невольно смутился и почувствовал, что отвык от общества этих блестящих светских людей, и пожалел, зачем ему захотелось знакомиться с Рабутиным.

Граф, поклонившись Волконскому особенно вежливо, причём, однако, было ясно, что он кланяется таким образом не именно Волконскому, а просто потому, что привык так кланяться всем без исключения, – сел довольно развязно в кресло и, обратившись к Аграфене Петровне, продолжал начатый с нею разговор о своих впечатлениях в Петербурге.

Рабутин говорил по-французски с несколько худо скрываемым немецким акцентом и неправильностями, но живо и остроумно. Волконский заметил, что Рабутин знает, что его разговор жив и остроумен, и как будто сам слушает себя. Это ему не понравилось. Не понравилась также князю Никите та учтиво-приличная развязность, с которою граф, поджав ноги в шёлковых, ловко обхватывавших его красивые икры чулках, и как-то свободно держа треугольную шляпу с пышным пером, смотрел прямо в глаза Аграфене Петровне, в эти милые, дорогие для князя Никиты глаза, светившиеся до сих пор для него лишь одною счастливою улыбкой. Видимо было, что Рабутин привык смотреть так на всех хорошеньких женщин и, собственно говоря, никто не мог бы придраться к

нему за это, но Никите Фёдоровичу неприятно было, как смел этот красивый, чужой, Бог знает, зачем приехавший молодой человек относиться к его Аграфене Петровне, как ко всякой хорошенькой женщине.

Волконский знал, что она была хороша и что лучше её не было на свете; но при чём же тут Рабутин и какое дело ему до всего этого? А между тем этот Рабутин смеялся, разговаривал, шутил и был очень доволен собою, как будто всё, что он делал, было очень хорошо и необходимо и доставляло неизъяснимое удовольствие Аграфене Петровне.

Никита Фёдорович постарался поймать её взгляд, но она не смотрела в его сторону. Правда, она ни разу не взглянула и на Рабутина, но Волконскому уже казалось, что она нарочно делает это в смущении, хотя он знал, что если бы она посмотрела теперь на Рабутина, – он, Никита Фёдорович, не ответил бы за себя.

Недавние головные боли были тому причиной, или просто Волконский отвык от этого обращения молодых людей, но только он чувствовал, что ему нестерпимо противен изящный Рабутин с его лентой и зелёными икрами, и что он не может оставаться дольше в этой гостиной, но вместе с тем и ни за что не уйдёт из неё, ни за что не оставит их одних.

Он сидел, стиснув зубы и зло уставившись на Рабутина, который несколько раз заговаривал с ним, но каждый раз получал такой односложный ответ, что перестал обращаться к князю Никите.

Волконская видела состояние мужа и боялась, чтобы он не наговорил Рабутина дерзостей.

– Что с тобою? – проговорила она наконец, когда её гость, раскланявшись, уехал.

Князь Никита только теперь, оставшись один с женою и видя её по-прежнему милое лицо, пришёл в себя и опомнился.

– Ничего! – ответил он, проведя рукой по голове. – Ничего... только я к этому Рабутина никогда больше не выйду.

С этого дня Волконский каждый раз, как узнавал, что у его жены был Рабутин, болезненно морщился и не спрашивал о нём.

Частые посещения молодого, красивого иностранного графа в доме Волконской неминуемо должны были подать повод к перешёптыванию в петербургских гостиных, и мало-помалу начала создаваться сплетня.

Рабутин принадлежал к числу тех дипломатов, которые, благодаря данным им от природы средствам, не только составляют через женщин свою собственную карьеру, но и устраивают многие дела, порученные их ведению. Рабутин по этой части давно приобрёл и выдержку и опыт.

Правда, сплетня, ещё глухо ходившая из уст в уста в виде догадок, не могла дойти до Никиты Фёдоровича. Но появление Рабутина уже принесло в сердце Волконского каплю горечи, которую он напрасно старался заглушить. Он предчувствовал и знал, что стремления жены не могут торжествовать над его правдой, которая отвергала эти стремления, и хотел, чтобы она собственным опытом убедилась в этом, и не боялся до сих пор за своё счастье; но теперь вдруг, когда он увидел этого графа, в его душе шевельнулось чувство, похожее на страх, и он впервые ощутил раздражение и недовольство затеями жены, которые сам же и допустил. Разумеется, нечего было и думать идти назад. Но прежде ему не приходило в голову вмешиваться в дела жены, он просто ждал развязки, уверенный в том, какова она будет, а теперь он уже не мог отогнать от себя беспокойную мысль о том, в чём, собственно, заключаются эти "дела". Конечно, он верил в свою Аграфену Петровну, иначе нельзя было бы жить, и всё-таки это глупое беспокойство мучило его. Но как узнать и как заговорить с нею?

А Рабутин продолжал бывать. Аграфена Петровна писала ему записки и отправляла при его посредстве какие-то письма. Она каждый вечер подолгу сидела у своего стола и исписывала большие листы бумаги. Она стала казаться рассеянною, беспокойною, нетерпеливою, ожидала каких-то известий, много выезжала из дома, не пропускала ни одного мало-мальски выдающегося собрания в Петербурге и несколько раз ездила во дворец к великой княжне Наталии Алексеевне.

Наконец Волконский застал жену такою, какою никогда не видел её без себя, – т а к о ю она бывала в лучшие минуты их счастья! Она сидела вся

сияющая, радостная, и бесконечно счастливая улыбка была на её лице. Она блестящими глазами точно впилась в письмо, которое держала в руках, ничего не слышала кругом и не видела.

Князь Никита близко подошёл к ней; она вздрогнула и быстро спрятала письмо.

Много раз Никита Фёдорович заставлял её за чтением своей корреспонденции, но никогда она не пугалась так, никогда у неё не бывало этого счастливого лица и никогда она не прятала писем.

– Покажи мне письмо! – вдруг проговорил Никита Фёдорович.

Аграфена Петровна засмеялась каким-то мелким, н е с в о и м, неприятным для князя Никиты смехом и, отстранившись от мужа, как кошка, вырвалась от него и ушла к себе в спальню.

Волконский стоял, точно кто-нибудь неожиданно больно ударил его и исчез.

Что это было за письмо, откуда?.. И письмо ли это было? А может быть, просто записка, но от кого? Не от Рабутина же?

III РАБУТИН

Никита Фёдорович должен был сознаться сам перед собою, что он ревнует. Это скверное чувство неожиданно возмутило его душевный покой, в котором всё до сих пор казалось так ясно и неизменно. Он никак не предвидел волнения именно с этой стороны. Положим, князь Никита сознавал, что его ревность неосновательна и что он не имеет никакого права на неё, потому что в четырнадцать лет его семейной жизни Аграфена Петровна не подала ни малейшего повода к тому; он соглашался, что ревновать было глупо, смешно, может быть, но тем не менее не мог лукавить, не мог скрыть пред собою своё скверное чувство и мучился, стараясь успокоить себя и победить явившегося в нём б е с а.

Разумеется, он скрывал это от жены, чтобы не оскорбить её, но Аграфена Петровна была так занята, что, казалось, не замечала, что происходит в душе мужа, как будто ей было вовсе не до него.

Всё это время она, при постоянных приёмах и выездах, тратила

особенно много денег. Между тем средства Волконского вовсе не соответствовали тем требованиям, которые к ним предъявляли.

Из деревни, где Волконский запретил всякие крутые меры, оброк получался туго; Пётр Михайлович в последнее время присылал из Митавы всё меньше и меньше. Князь Никита отказывал лично себе во всём, но его мечта уделять другим из своего дохода не только не осуществлялась, а напротив, нужно было так или иначе покрывать с каждым днём увеличившиеся недостатки.

Они содержали целый штат дворовых, у княгини было несколько пар лошадей, кареты, провизия была дорога, и ко всему этому нужно было расплачиваться по сделанному для постройки дома долгу.

Князь Никита считал необходимым делать всё это для жены, твёрдо уверенный, что настанет время, и, может быть, очень скоро, когда Аграфена Петровна откажется от Петербурга, и они уедут навсегда, одни, в деревню. Это было самое сокровенное желание Никиты Фёдоровича, и исполнение его казалось вовсе не невозможным: ему так не нравился Петербург, что он не сомневался, что Аграфена Петровна не может не увидеть, что в деревне лучше.

Однако пока она не убедилась в этом, нужно было дать полную ей возможность испытать самой на опыте всё, дать полную волю, чтобы она сама нашла дурное дурным. А для князя Никиты лучшей в мире женщиною была Аграфена Петровна, и, по его мнению, эта лучшая женщина могла только временно ошибаться, но если ей дать свободный выбор, в конце концов она станет непременно на ту сторону, где правда. И он старался не отказать ей ни в чём.

Бестужевы жили всегда большим домом. Пётр Михайлович баловал дочь, и она, почти никогда не знавшая ни в чём отказа, никак не могла и не умела войти в мелкие расчёты и понять, что может не быть денег, когда их нужно.

Первого мая было назначено катанье в Петербурге. Волконская хотела поехать с сыном и за несколько дней пред этим пришла к мужу, чтобы переговорить о предстоящем развлечении. Никита Фёдорович сидел у

своего письменного стола и при входе жены отклонился назад, по привычке перекинув через спинку кресла руку, в которой держал перо.

– Ты занят? – спросила Аграфена Петровна.

Князь Никита ласково взглянул на неё и, улыбаясь, покачал головою. Он любил жену и был влюблён в неё так же, как и на другой день их свадьбы. Никогда не расставаясь с Аграфеной Петровной, он, видя каждый день её милое лицо, решительно не замечал в этом лице никаких изменений: ему она казалась совершенно такою, какою он увидел её в первый раз, и он всегда с одинаковою нежностью и восторгом любовался ею.

– Прелесть моя, радость! – проговорил он и хотел взять её руку, чтобы поцеловать.

Аграфена Петровна видела, что он в особенно кротко-любовном настроении; но она пришла для разговора, который не совсем подходил к этому настроению, и потому суше, чем следовало, поспешно протянула мужу руку к губам и проговорила:

– А я к тебе.

Никита Фёдорович поморщился. Он знал, что значили эти слова: Аграфена Петровна пришла просить денег.

– Я получил письмо сегодня от твоего батюшки, – сказал он, снова пригибаясь к столу и перебирая лежавшие на нём бумаги. – Вот, – добавил он, найдя письмо, – прочти!..

Аграфена Петровна взглянула на знакомый, неясный почерк отца и с первых же строк поняла, в чём дело. Пётр Михайлович писал, что ему нынче положен запрет в Курляндском герцогстве вступать в тамошние управления и таможенные сборы и других всяких доходов, и велено отнюдь ни до чего не интересоваться, кроме одних местностей, определённых вдовствующей герцогине. Жалованья он-де получает немного, да и не в срок, а потому выслать денег не может и не знает, когда вышлет.

– А ты ждал денег от батюшки? – спросила Аграфена Петровна.

– Конечно, ждал.

– Значит, мы не можем заплатить за свечи? У нас их много вышло, я велела ещё взять, это необходимо.

Никита Фёдорович пожал плечами.

– Зерно, крупа, к а ж е т с я, вышли, – неуверенно произнесла Аграфена Петровна.

– Нет, зерна и крупы хватит ещё, – утвердительно произнёс князь Никита.

– Ну, а как же я заплачу за локоны? – спросила вдруг Волконская.

– Какие локоны?

– Да по счёту там нужно заплатить сто пять рублей, кажется... вот тебе счёт, чтобы ты не думал, что я лгу.

Никита Фёдорович, который вовсе и не думал, что она лжёт, взял из рук жены золотообрезную бумажку, на которой было чётко и красиво написано:

"Щёт, коликое число сделано про сиятельную княгиню и милостивейшую государыню Аграфену Петровну, княгиню Волконскую, локонов и протчего камердинером её императорского величества Петром Вартотом.

Февраля 8 дня 8 малых машкаратных локонов 25 р.

Машкаратные же турецкие длинные волосы 10 "

Фаворитов 8 пар 16 "

4 штуки долгих волос 8 >

2 поручки маленьких длинных 32 >

За переправку локонов 12 >

Итого 103 р.

Pierre Wartot".

Волконский, просмотрев счёт и наморщив лоб, стал, придавливая, тереть его, точно у него чесалось там внутри головы.

– Как же это? – проговорил он наконец. – Знаешь, Аграфенушка, это всё чересчур – так мы не проживём, пожалуй.

– Ах, опять ты за старое! – заговорила, начиная уже волноваться, Аграфена Петровна. – Сколько раз я тебе говорила, что мы живём так

скромно, как только можно! Только с а м о е необходимое... Ведь не могу же я не быть окружена обстановкой, соответствующей моему положению?

– сверкнув глазами, добавила она.

– Да всё-таки можно бы сократить кое-что.

– Что, что сократить? Ты скажи, ну, назови!

– Да я не знаю... ну, вот хоть для Миши опять новые башмаки купили; ну, зачем ему столько башмаков? – слабо возразил Никита Фёдорович.

Аграфена Петровна рассердилась за то, что он так скоро нашёл свой пример и, дёрнув плечами, ответила: "Ведь не водить же мне его босиком?" – и отвернулась, недовольно надув губки.

Волконский давно привык к манере жены отвечать, когда она сердилась, всегда преувеличивая слова говоривших с нею, и потому только укоризненно тихо произнёс:

– Аграфенушка, ну, когда же я говорил, чтобы ты водила его босиком?

Когда он говорил "Аграфенушка", всё шло ещё ничего, но при второй половине его фразы Аграфена Петровна вдруг обернулась к нему и нервно, с внезапно поднявшеюся злобой, заговорила, торопясь словами, точно боялась, что сердце пройдёт у неё раньше, чем она кончит говорить:

– Да что это ты выдумал читать мне наставления, словно кто дал тебе право? Я – не батрачка, не подлая тебе раба, я не в неволе у тебя... и сама могу иметь свою волю... Если ты сидишь в одном месте и ничего не хочешь делать – так я не могу так. Понимаешь, я хочу и буду делать, что мне нравится... Да, вот что! Не нужно мне твоих денег, слышишь, не нужно! – встав уже с места и возвысив голос, сердилась она и, не найдя, что сказать ещё, скорыми шагами вышла из комнаты, хлопнув дверью.

Никита Фёдорович грустно опустил на руки голову и задумался.

Эти вспышки жены, казавшиеся как будто беспричинными, обыкновенно до глубины души огорчали его. Но он всегда старался объяснить их себе и, разобрав подробности, всегда находил роль последовательных причин и оправдывал свою Аграфену Петровну.

Однако сколько он ни думал теперь, ничего не мог найти в оправдание

сегодняшней вспышки. Главное, он не знал, почему жена так скоро рассердилась и почему пришла уже раздражённой, готовая встретить целую бурю малейшее возражение.

Очевидно, у неё было что-то своё, скрытое от Никиты Фёдоровича, волновавшее её, чего он не знал, и не вполне ещё побеждённый недавний бес снова проснулся в нём.

Волконский встал из-за стола и быстрыми шагами заходил по комнате. Оба они теперь – Аграфена Петровна на своей половине, он у себя в кабинете, – чувствовали, что поссорились, и никто не хотел идти мириться.

Кончился день, и на другое утро они встали с окрепшею, принявшею уже известную форму, злобою. Никита Фёдорович не пошёл на половину жены; она не пошла к нему.

Над Петербургом разразилась первая весенняя гроза, и давивший с утра жаркою тяжестью воздух разрядился и, словно промытый дождём, благоухал распускавшимися почками зелени.

Князь Никита открыл окно и с удовольствием вдохнул этот воздух. На него повеяло свежестью ещё холодновато-сырого вечера, но эта свежесть была приятна, и Никита Фёдорович, облокотившись на подоконник, стал смотреть на расстилавшийся пред его глазами широкий, своеобразный вид сравнительно недавно возникшего Петербурга.

Из-за низких крыш наскоро устроенных мазанок виднелась торжественная, огромная река своею гладкою, озарённую красным огнём заката поверхностью, с профилем крепости, где высилась тонкая, красивая колокольня собора. Оголённые ещё деревья Летнего сада причудливою, тёмною сеткой вырисовывались на терявшем с каждой секундой свою лазурь небосклоне. Вечер был совсем весенний, не петербургский, напоминавший Никите Фёдоровичу далёкую деревню.

У Волконского отёк наконец правый локоть, на который он упирался, и он машинально перегнулся на левый, но это своё движение он заметил лишь потому, что ближайшие предметы передвинулись у него направо. Теперь Бог знает откуда торчавшее деревце заслоняло своими тощими,

голыми веточками часть крепостной колокольни. Он подвинулся ещё чуть левее, и колокольня почти совсем заслонилась.

"Странно! – мелькнуло у князя Никиты. – Как это ничтожный пучок прутьев может вдруг заслонить то, пред чем он – такое ничтожество! – И невольно у него это деревце получило связь с тем, на что целый день были направлены сегодня его мысли. – Неужели, – пришло ему в голову, – могут минутные размолвки с женою заслонить счастье стольких лет супружеской жизни?"

Он закрыл окно и почувствовал, что давно уже перестал сердиться на жену и что сейчас же должен пойти к ней, посмотреть на неё, посмотреть ей прямо в глаза и рассмеяться в ответ на её улыбку, которую она наверно встретит его.

Аграфена Петровна была в маленьком кабинете – своей любимой комнате, очень уютной. Здесь стояла привезённая ещё из Митавы лёгкая мебель жёлтого тополя, а стены были расписаны по холсту французскими художниками, приехавшими вместе со знаменитым Леблоном, по проекту которого строился и сам дом Волконских. Комната, освещённая двумя окнами, в которые слабо гляделись сумерки угасшего дня, была полутемна.

Никита Фёдорович, войдя, сейчас же увидел профиль жены, темневший пред одним из окон. Она сидела у своего столика и была, очевидно, занята чем-то очень серьёзно.

Князь Никита сделал шаг вперёд. Аграфена Петровна считала деньги. Часть лежавших пред нею золотых монет выравнивалась уже в аккуратные стопочки, остальные – лежали ещё беспорядочною кучкой.

Волконский, предполагавший, что жена ждёт его примирения, что её сердце так же, как у него, и так же, как это бывало прежде, давно прошло – и она только первая не хочет идти мириться, ждал совсем другого; он никак не думал, что Аграфена Петровна совсем забыла о нём в эту минуту, это он может каким-нибудь образом п о м е ш а т ь ей. А между тем она обернулась, и по её холодному, недовольному лицу он видел, что действительно она в эту минуту вовсе не думала о нём, и он

помешал ей.

Но откуда при всём этом были у неё деньги?

"Что это? Долг, сделка, продажа каких-нибудь вещей? Рабутин!" – вспомнил Никита Фёдорович.

И вдруг небывалое бешенство охватило всё его существо; он задрожал всем телом – и не своим, сдавленным голосом проговорил, чувствуя, что не он сам, но бес владеет им:

– Откуда... откуда деньги?

Аграфена Петровна встала, оперлась рукою на стол и, выпрямившись во весь рост, высоко закинув голову, грозно ответила:

– А т е б е какое дело до этого?

Её лицо было искажено злобою и гордостью и отталкивало от себя Никиту Фёдоровича.

– Что? Какое мне дело?.. мне? А такое мне дело, что я знаю, откуда эти деньги! – Он всё больше и больше задышался, его сердце билось до боли сильно, грудь сдавилась, словно тисками. – Знаю, что они от Рабутина! – вдруг выкрикнул он и, упав в кресло, закрыл лицо руками.

Он не помнил уже, что говорил и делал. Он боялся отнять руки, открыть глаза и посмотреть, что с женою; он не понимал, как язык повернулся у него нанести ей это оскорбление, и не мог сообразить, что должно случиться теперь.

Но Аграфена Петровна оставалась совершенно спокойною, всё также опершись рукою на стол и гордо закинув голову.

– Да, от Рабутина... "вы" угадали! – подтвердила она.

Князь Никита ожидал всего, но только не этого. Он отнял руки от лица и остановился на жене долгим, бессмысленным взглядом своих помутившихся, необыкновенно широко открытых глаз. Его лицо стало изжелта-бледным, и губы посинели.

"Господи, что с ним?" – мелькнуло у Аграфены Петровны.

И вдруг правая щека князя Никиты часто и судорожно задрожала, жила на левой стороне шеи стянулась, рот дрогнул и скривился, плечи заходили мелкою дробью, и кисти рук неудержимо замотались в разные

стороны.

Смятение, страх, раскаяние и жалость, главное – жалость, охватили Аграфену Петровну, и она, забыв уже свою гордость, обиду и злобу, кинулась к мужу.

– Милый... родной... погоди! Что ты? – проговорила она голосом, в котором звучала неподдельная нежность. – Воды тебе, постой!

Она принесла мужу из спальни воды, заставила его выпить и, положив ему на плечи руки, смотрела на него испуганная, но снова любившая и потому по-прежнему прекрасная.

Князь Никита тяжело дышал. Судорог в лице у него уже не было, только руки вздрагивали.

Он силился улыбнуться и успокоиться. Ему было довольно взгляда жены, её ласкового слова, чтобы вновь почувствовать радость и жизнь.

– Да что ты так... что? – спросила Аграфена Петровна. – Ну, скажи в с ё, что с тобою было?

Она села мужу на колена и обняла его одною рукою. Спокойствие почти вернулось к нему. Своим чувством любви, которое никогда не обманывало его, он уже знал, что жена ни в чём не виновата пред ним, что всё объяснится, и его Аграфена Петровна останется чиста, как прежде. Он постарался подробно рассказать ей все свои тревоги последних дней, сообщил о письме и о Рабутине. При упоминании этого имени он было снова заволновался, но Аграфена Петровна перебила его вопросом:

– Да ты знаешь, зачем он приехал в Петербург?

– Говорят, что заключать какой-то договор.

Волконская улыбнулась.

– Да, это так говорят, а на самом деле он здесь, чтобы хлопотать за великого князя.

– Петра Алексеевича?

– Ну да! Видишь ли, – заговорила Аграфена Петровна, – императрица хочет сделать наследницею престола одну из своих дочерей. Герцог Голштинский, муж старшей царевны Анны Петровны, входит теперь в

мельчайшие подробности правления, словно будущий супруг будущей государыни. Они хотят обойти великого князя, Ну, а это не так-то легко, – у него тоже есть преданные люди, да и со стороны матери он – родня Гамбургскому дому; значит, для этого дома весьма важно, чтобы русский престол занимало лицо, находящееся в близком родстве с ним. Вот австрийцы и послали...

– И ты в числе преданных людей великому князю? – спросил Никита Фёдорович.

– Это – старая история; брат Алексей уже давно в сношении с австрийским двором, ещё с тех пор, как в Вене скрывался от своего отца царевич Алексей Петрович.

– Значит, вы играете в руку австрийцам?

– Как, в руку австрийцам? – встrepенулась Аграфена Петровна, вставая от мужа. – Желать, чтобы в России царствовал коренной русский государь, единственный мужской потомок Романовых, родной внук императора, и всеми силами противодействовать воцарению женщины, рождённой от иностранки и вышедшей замуж за иностранца же, который придёт и будет господствовать над нами, – по-твоему значит играть в руку австрийцам? Пусть австрийцы теперь пока помогают нам с их Рабутиным, а потом увидим ещё, будут ли они иметь возможность сесть нам на шею.

Выражение жены "австрийцы с и х Рабутиным" было особенно приятно Никите Фёдоровичу.

– Но зачем же ты берёшь от него...

– Деньги? – перебила Аграфена Петровна. – Затем... затем, что у нас их нет, затем, что они нам нужны, и что борьба без денег немыслима. Я смотрю на эти деньги, как на средство борьбы за благое дело. Это всё равно. Отец в Митаве брал деньги даже у евреев, когда они ему были нужны... Я беру у австрийцев. Придёт время – и отдам!

– Постой!.. Но при чём же тут ты? Отчего же ты являешься каким-то чуть не главным лицом здесь?

– Главным – нет, – скромно опуская глаза, но самодовольно улыбаясь,

ответила Аграфена Петровна, – а одним из главных, может быть.

– Каким же это образом? Для чего нужно всё-таки иметь положение, ну, хоть при дворе.

– Я его уже имею или всё равно что имею! – ответила она и, открыв средний ящик своего столика, достала одно из лежавших там писем. – Прочешь? – лукаво щуря глаза, спросила она мужа.

– Да ну! – нетерпеливо проговорила он.

И Аграфена Петровна, объяснив, что письмо от брата Алексея, стала читать.

"Как к Рабутину отсюда дано знать, – писал Алексей Петрович, – так и к великому двору, дабы он, Рабутин, инструктирован был стараться о вас, чтобы вам при государыне великой княжне цесарского высочества обер-гофмейстериной быть. Вы извольте с упомянутым Рабутиным о том стараться; что же касается меня, и я намерен потерпеть доидеже вы награждение своё, чин обер-гофмейстерины, получите, ибо награждение моё через венский двор никогда у меня не уйдёт. Согласитесь с Рабутиным о себе, также и о родителе нашем прилежно чрез Рабутина стараться извольте, чтоб пожалован был графом, что Рабутин легко учинить может".

– Аграфенушка, так это – то самое письмо? – спросил Волконский, краснея.

– Ну разумеется! А ты что думал?

Аграфена Петровна хотела ещё сказать что-то, но муж не дал ей договорить и, вскочив, стал целовать её.

– Так это ты будешь обер-гофмейстериной при Наталье Алексеевне?! – проговорил он наконец.

– Ну да, при сестре великого князя.

Волконская сияла и вследствие состоявшегося примирения с мужем, и вследствие радостных надежд, которые теперь, при разговоре о них, снова взволновали её. Она была искренне рада и ей захотелось увидеть сочувствие в муже, ей захотелось, чтобы и он радовался вместе с нею.

Но Никита Фёдорович только улыбался жене, как улыбается взрослый

человек, смотря на восторг ребёнка, восхищённого, положим, тем, что ему удалось соорудить из чурок высокую башню. Точно так же, как князь Никита не мог бы искренне огорчиться, если бы башня эта развалилась во время постройки, или радоваться, когда она была сложена, – точно так же он не мог радоваться удавшимся планам жены или огорчаться, если бы они не удались.

– И неужели всё это тебя тешит? – серьёзно спросил он.

– То есть как, т е ш и т? – с оттенком обиды спросила Аграфена Петровна.

– Ну ведь мы же помирились! – сказал Никита Фёдорович. – Чего же ты обижаешься?

И он снова не дал ей говорить, начав целовать её.

IV КУРЛЯНДСКОЕ ДЕЛО

У герцогини Курляндской Анны Иоанновны было мною женихов, потому что она являлась одною из завидных невест, принося за собою в приданое курляндскую корону. Говорят, их было до двадцати, но свадьбе каждый раз мешали политические соображения.

Наконец, в 1726 году явился в Митаву молодой, красивый и ловкий граф Мориц Саксонский, прогремевший своими успехами чуть ли не при всех европейских дворах. Он, поддержанный незаконным своим отцом Августом, королём польским, приехал как претендент на герцогский титул и как жених. С первого же взгляда, с первого же слова герцогиня Анна почувствовала неудержимое влечение к этому человеку, который хотел и мог стать её мужем.

Казалось, счастье теперь улыбнулось ей. Главного препятствия – непреклонного, неодолимого запрета дяди-императора – не могло быть, потому что дядя уже умер. У Морица был сильный заступник и покровитель – его король-отец. Следовательно, если только Морица выберут в Курляндии в герцоги, никто не посмеет помешать её счастью. И курляндский сейм выбрал графа Саксонского. Мориц мог по праву взять за себя и так долго томившуюся в одиночестве Анну, но вдруг все

счастливые грёзы исчезают, мечты тают, как дым, а в действительности в Митаву приезжает из Польши Василий Лукич Долгорукий и объявляет выбор незаконным. Мало того, получается известие, что сам Меншиков уже подъехал к курляндской границе. Он сам захотел быть герцогом, и Анне Иоанновне хорошо было известно, что Александр Данилович – не такой человек, чтобы не достигнуть того, чего пожелает. Она уложила самые необходимые вещи и с одной лишь девушкой, в коляске, поехала навстречу Меншикову. Они встретились в Риге.

Однако из этого свидания ничего не вышло для Анны Иоанновны. В Петербурге было получено письмо светлейшего на имя государыни, которое стало известным и в котором Меншиков писал, что после разговора с ним герцогиня, убеждённая его, Меншикова, доводами, согласилась, что ей неприлично выходить замуж за Морица, "сына метрессы", и что избрание графа в герцоги Курляндские причинит вредительство интересам российским.

Но почти одновременно вместе с этим письмом пришли в Петербург известия о том, как действует появившийся в Митаве Меншиков. Долгорукий писал своим родственникам, Бестужев – дочери. Левенвольд, имевший в Курляндии немало знакомых и приятелей, получил от них послания с ужасающими подробностями.

Меншиков явился в Митаву, собрал почти насильно депутатов курляндского сейма, грозил им Сибирью и, стуча палкою и крича на них, дерзко требовал своего собственного избрания. Граф Мориц вызвал Меншикова на дуэль, но тот прислал в Митаву триста солдат арестовать Морица; однако тот отбился.

Обо всём этом в Петербурге заговорили, стараясь придать поступкам Меншикова характер чуть ли не покушения на правительственную власть.

Анна Иоанновна, потерпевшая неуспех в Риге, отправилась лично хлопотать в Петербург за своего "Морица". Она знала, что здесь, прямо у государыни, для которой Меншиков был сила, возведшая её на престол, она, Анна "Ивановна", как звали её при дворе, ничего не может значить,

и её непосредственное заступничество не принесёт никакой пользы. Нужно было действовать через людей, имевших связи и хорошо знавших все её ходы, чтобы бороться с волею временщика. Но к кому обратиться?

К заведомым врагам Меншикова – Долгоруким, Голицыным, Анна Иоанновна не решалась, потому что это значило стать в прямые враждебные отношения к светлейшему. Остерман? Но этот немец хотя и может многое сделать, однако постоянно ссылается на свои недуги и ни для кого ничего не делает, кроме самого себя. Прасковья Ивановна, родная сестра герцогини, у которой она и останавливалась обыкновенно в Петербурге, удалилась от двора, с тех пор как вышла замуж за "приватного человека" Дмитриева-Мамонова, и ничем, кроме совета, не могли помочь сестре. В прежнее время Левенвольд мог сделать что-нибудь, но теперь он потерял значение.

– Да обратись к Волконской, княгине Аграфене Петровне, – вспомнила наконец Прасковья Ивановна, – ведь она – дочь т в о е г о Петра Михайловича и может, по нынешним временам, многое сделать.

Герцогиня Анна поморщилась. Опять эта Аграфена Петровна становилась на её пути, непрощеная, но, видимо, необходимая.

– Да разве она может что? – спросила Анна Иоанновна после некоторого молчания.

– Во всяком случае, – пояснила ей сестра, – если и не может сама сделать что, то укажет, как и к кому обратиться.

Анна Иоанновна долго старалась отстранить от себя необходимость ехать к Волконской. Но чем дальше она думала об этом и чем старательнее искала какого-нибудь другого выхода, тем настойчивее казалось ей, что кроме Аграфены Петровны нет другого лица, более подходящего для начала её дела.

Герцогиня побывала при дворе, сделала визиты всем важным персонам. Везде её приняли вежливо, но довольно сухо и не дали заикнуться о "деле".

Она не могла знать, что уже началась деятельная работа против её теперешнего врага. Посвятить её в эту тайну опасались из боязни какого-

нибудь неловкого с её стороны шага, и она думала с отчаянием, что время проходит даром, и что она ничего ещё не сделала.

– Что ж, поеду уж! – сказала она сестре и отправилась к Волконской.

Аграфена Петровна видела из окна, как у ворот её дома остановилась карета герцогини, как с козел соскочил гайдук и, пробежав по лужам широкого двора, скрылся в подъезде.

"Наконец-то! – мелькнуло у неё. – Давно пора!"

Она знала, что будет н у ж н а Анне Иоанновне и нарочно здесь, в Петербурге, где титул "герцогиня" не значил ничего, не ехала к ней первая.

Аграфена Петровна, отойдя от окна, села на диван, развернув первую попавшуюся под руку книжку.

Лакей, по заведённому порядку, доложил о гостье. Волконская продолжала читать, как будто не слушая.

– Ну да, просите! – наконец сказала она.

Она не вышла встречать герцогиню, но осталась на своём диване, как была, и только встала навстречу Анне Иоанновне, когда та вошла к ней в кабинет.

Герцогиня сильно изменилась на взгляд Аграфены Петровны, не выдавшей её с самого своего отъезда из Митавы. У неё была совсем другая причёска с буклями; правда, герцогиня делала её себе ещё при Волконской, но тогда эта причёска не бросалась так в глаза княгине, как теперь, после нескольких лет, как они не виделись. Анна Иоанновна также очень потолстела, и её лицо стало совсем круглым, с несколько неприятно отвислыми щеками. Прежде она гораздо больше подходила к немецким перетянутым барыням, которые окружали её в Митаве, а теперь, несмотря на жизнь в иностранном городе, видимо, опускалась и становилась очень похожа на московских боярынь, не умевших одеваться в чужеземный наряд и носить шёлковые робы с талией. Теперь немецкий титул "герцогиня" как-то особенно не шёл ей.

Она вошла красная, тяжело дыша, и казалось взволнованною; она, видимо, чувствовала приём Волконской.

– А я к вам... – начала она и не утерпела, чтобы не прибавить "по делу". Это значило, что иначе она не приехала бы. Аграфена Петровна наружно спокойная, любезно улыбнулась и, как власть имеющая, снисходительно ответила:

– Чем могу служить, ваша светлость?

"Я б тебя растерзала за этот тон", – подумала Анна Иоанновна.

– Вот что, – начала она, сдерживая волнение, – слышали вы, что у нас в Курляндии делается?

Аграфена Петровна давно рассчитывала, что явившаяся в Петербург герцогиня, озлобленная на Меншикова, будет живым свидетелем против него и может, если её направить как следует, быть очень полезною.

– Слышала, – ответила она, – это – ужас!

– Да как же не ужас? – заговорила герцогиня. – Избрала графа Морица... он имеет все права...

– Но ведь ваша светлость уже отказались от брака с графом Саксонским.

– Как отказалась? – встрепенулась Анна Иоанновна. – Кто это сказал?

– Императрица получила от светлейшего собственноручное письмо, – и Волконская передала в нескольких словах содержание письма.

– Что-о?! – воскликнула герцогиня. – Он это написал?.. Это – неправда, это не так было!.. Вы знаете Данилыча – явился ко мне в Риге таким, каким никогда я его не видела... Начал кричать, что Мориц – сын метрессы, что он – мне не пара... Ну, что ж я могла сделать?

– Ну, и вы согласились с ним?

– Да не знаю – говорил больше он, а я молчала. Наконец он сказал, что так и напишет всё, как было.

– А видите, что написал он?!

– Так как же теперь быть? – упавшим голосом спросила герцогиня.

Аграфена Петровна пожала плечами. Ей весело было видеть, как эта женщина дрожала теперь пред нею за своё счастье, ожидая помощи от неё, самолюбие которой задевала в минувшие годы.

– Что ж делать, ваша светлость, нужно подчиниться воле светлейшего, – улыбнулась она.

– Как, подчиниться? – почти крикнула Анна Иоанновна. – Где ж это видано, чтобы подданный вертел так царским домом? Что ж это? Этак, пожалуй, он и впрямь не только герцогство Курляндское получит, но захочет и ещё большего.

– Ну, большего ему никто не даст! – меняя тон, заговорила Волконская, а затем, насколько было нужно, посвятила герцогиню в тайные подкопы против временщика и указала, с кем и как должна поговорить Анна Иоанновна, и обещала ей, что со своей стороны сделает всё возможное, чтобы помочь ей.

Несмотря на всю неприятность своего посещения Волконской, Анна Иоанновна уехала от неё с сознанием, что это посещение было сделано не даром.

У Морица Саксонского оказались в Петербурге ещё защитники, или, вернее, защитницы, которых он, по всей вероятности, и не подозревал. Француженки, состоявшие при цесаревне Елизавете и великой княжне Наталии, были без ума от подвигов Морица, слава которого дошла до них. Они постарались настроить в пользу этого, вдобавок опозитизированного их французскою фантазией, героя своих воспитанниц, которые таким образом со своей стороны явились невольными заступницами графа Саксонского пред государыней.

Все эти люди, питавшие в силу самых различных причин ненависть к Меншикову, зашевелились в его отсутствие и начали свою работу.

Волконская с утра выезжала из дома или принимала у себя, суетилась, действовала, беспокоилась и волновалась, с тревогой ожидая, чем кончится вся эта история, которая имела большую возможность успеха.

Она боялась ещё торжествовать и радоваться, но, предчувствуя победу, всё время была особенно в духе и выказывала горячую лихорадочную деятельность.

Её удивлял Рабутин. Несмотря на то, что всё, по-видимому, шло очень хорошо и светлейшему была поставлена очень хитрая ловушка, из которой он едва ли мог уйти, Рабутин не принимал деятельного участия во враждебных Меншикову происках и ничего, даже тайно, не

предпринимал в помощь Аграфене Петровне. Сколько ни пробовала она говорить с ним серьёзно, он или отшучивался, или ссылался на то, что Меншиков – князь Священной Римской империи и потому он не может действовать против него, не имея на то прямых инструкций от своего двора. Но Волконская знала, что это – вовсе не настоящая причина поведения Рабутина. Она догадывалась, что австрийский посол просто не верит в возможность падения временщика и потому считает напрасным все направленные к этому усилия, которым он, впрочем, не желает и противодействовать. И Аграфена Петровна удивлялась, как может он думать так, когда успех предприятия был несомненен, и старалась "вывести" австрийца на н а с т о я щ у ю дорогу. Она хотела – и он должен был во что бы то ни стало подчиниться ей. Она находила его слишком молодым, несмотря на то, что он был на самом деле старше её, и так была уверена в себе и в верность своих расчётов, что считала долгом своим для пользы и общей, и самого Рабутина, руководить им.

Рабутин на общественных собраниях был всегда очень внимателен к Аграфене Петровне. Сначала он пробовал было особенно приблизиться к умной и милой русской княгине, но Волконская очень ловко сумела обойти это и удержала молодого графа в должных границах, оставшись, однако, в прежних с ним отношениях.

Рабутин видел, что всё-таки она может быть полезна ему, и потому продолжал оставаться возле неё, хотя их отношения держались чистою связью одних и тех же интересов и цели, что, впрочем, не мешало вести остроумную беседу, в которой Рабутин щеголял своею любезностью, не умея иначе разговаривать с женщинами.

Но собственно для своего влюбчивого сердца он должен был избрать другой предмет.

Волконская сошлась в последнее время с Марфой Петровной Долгоруковой, дочерью Шафирова, которая была озлоблена против Меншикова за сделанные им её отцу неприятности и готова была всеми силами отомстить светлейшему. Аграфена Петровна часто вечером заезжала к ней и оставалась, рассказывая то, в чём успела за день.

Июль был уже на исходе, когда Волконская явилась к Марфе Петровне с известием, что Меншикову послан указ немедленно вернуться в Петербург.

– Вы поймите, – сказала она Долгоруковой, – это очень важно. Он, вероятно, не послушается, и тогда ему конец. Государыня так уже подготовлена, и всё обставлено...

Несмотря на свою нелюбовь к Меншикову, Марфа Петровна слушала слова княгини довольно рассеянно. Правда, Волконская уже давно сидела у неё, и они, казалось, обо всём успели переговорить и рассмотреть известие об указе со всех сторон, но Волконской всё ещё хотелось говорить об этом.

– Что это, вам не по себе, кажется? – спросила, наконец, она, замечая скучающее и нетерпеливое выражение в глазах Долгоруковой.

– Устала я, – коротко ответила та.

Аграфена Петровна начала прощаться с нею.

– Ну, до свидания, голубушка, дай вам Бог и на завтра успеха! – сказала по обыкновению Марфа Петровна, провожая свою гостью до лестницы, а затем вернулась к себе в маленькую гостиную и поспешно подошла к большим стеклянным дверям, выходящим в сад на террасу.

На дворе стояли сумерки июльской ночи. Небо было безоблачно, но в саду, под чёрным кружевом тихих деревьев, казалось всё-таки настолько темно, что Марфа Петровна приложила обе руки к стеклу и прислонилась к ним, чтобы заглянуть в эту темноту. Всё было тихо кругом.

Долгорукова неслышно отворила дверь и вышла на террасу. Странная таинственность ночи охватила её, и она почувствовала какую-то жуткость, точно щипнувшую её за сердце. Но она подавила в себе неприятное чувство и подошла к перилам.

В глубине аллеи слышались твёрдые, видимо, привыкшие к дороге, но осторожные шаги.

"В мире, есть одна лишь сила,
Гордый дух подвластен ей", –

вполголоса, как бы про себя, пропела по-немецки Долгорукова.

"То улыбка вечно милой,
Нежный взгляд её очей", –

подхватил также тихий голос из сада, и вслед за тем на ступеньки террасы поднялся Рабутин.

Марфа Петровна двинулась ему навстречу.

– Не люблю я этих ваших ночей, сырых и полусветлых, – заговорил Рабутин, входя за Долгоруковой в гостиную, как свой, как давно ожидаемый и желанный. – Ты не долго ждала меня? – с улыбкою спросил он, скидывая свой плащ.

– Нет, от меня только что уехала Волконская, – ответила Марфа Петровна, садясь на небольшой диванчик. – Ну, иди сюда, здравствуй!..

Они говорили по-немецки.

– Ну, что ж, она всё о е г о падении хлопочет? – сказал Рабутин, подходя к Долгоруковой и садясь рядом с нею.

– Конечно, мы все хлопочем... дело идёт к развязке... е м у послан уже указ, всё идёт как нельзя лучше...

Рабутин покачал головою.

– Ну, вот ты всегда не веришь! У тебя вечные сомнения! – сказала капризным голосом Марфа Петровна. – А ведь, кажется, всё так ясно!..

Её восточные, красивые чёрные глаза блестели уверенностью и улыбкой, и всё лицо сияло особенною – несвойственною европейским, надоевшим Рабутину, женщинам, – красотой; только рот с чуть выдававшейся, но отнюдь не портившей её, нижней губою, сложился недовольной складкою. Она была недовольна на него за его противоречие.

– Я удивляюсь одному, – серьёзно заговорил Рабутин, – как вы все не понимаете, что т е п е р ь так же немислимо побороть этого господина, как нельзя остановить щепкой течение большой реки. Царица отлично

понимает, что, оттолкнув его, она всё потеряет, а если и не понимает этого, то герцог Голштинский с Бассевичем объяснят ей, хотя бы из чувства самосохранения. Ведь и они пропадут тогда. Наконец, Меншиков силён в гвардии... А, да ничего из этого не выйдет! – махнул он рукою.

Долгорукова окончательно рассердилась.

– Я тоже удивляюсь тебе, Густав, – возразила она, – ты вот уже сколько времени в Петербурге и ведь, собственно, ничего не сделал для великого князя, ни даже для договора, который служил официальной причиной твоего приезда. Скажи, пожалуйста, зачем же ты приехал сюда?

Глаза Рабутина сощурились, и он улыбнулся, весело глядя на её сердитое уже лицо.

– Может быть, лишь для того, чтобы судьба свела меня с тобою, я приехал сюда, – ответил он, продолжая улыбаться и смотря прямо ей в глаза. – А вот пришёл я к тебе вовсе не для того, чтобы ссориться теперь, – и он ласково потянулся к ней и хотел взять её руку, но Долгорукова отдернула её.

– Ты знаешь, что я терпеть не могу этого человека, и не успокоюсь до тех пор... – начала она.

– Всему своё время, – перебил её Рабутин. – Придёт и ему черёд, но пока я должен сделать наследником великого князя и сделаю это! – с оттенком немецкого пафоса произнёс он.

Долгорукова ласково взглянула на него.

– Знаешь, Густав, когда ты говоришь о делах, мне всегда кажется, что ты старше, чем ты есть... Но будет о них...

И они перестали говорить о делах.

V ПРОПОВЕДЬ ДУХА

Прошло немного времени – и Рабутин оказался совершенно прав. То глубоко обдуманное и обеспеченное в своём успехе "дело", над которым с таким рвением хлопотала Аграфена Петровна, явилось пустым и вздорным, и в действительности оказалось серьёзным только для тех, кто им занимался, но не для того, против которого направлены были эти, в

сущности, очень слабые, в сравнении с его собственным могуществом, усилия. Меншиков вернулся из Митавы в конце июля, и ни одно из ожиданий его врагов не оправдалось.

Императрица Екатерина, должно быть, привыкшая к подчинению при покойном своём супруге, постоянно чувствовала необходимость опираться на твёрдую руку с непреклонною волею, а такую руку являлся, несомненно, Меншиков, воспитанный в суровой школе Петра.

И австрийский посланник понял это. Партии великого князя он объяснил, не щадя ни слов, ни издержек, какую силу будет иметь она, если на её сторону перейдёт Меншиков, а Меншикову подсказал мысль выдать свою дочь за великого князя и первый заговорил об этом во всеуслышание, как о деле весьма возможном и ничуть не удивительном тем более, что за жениха Меншиковой, красавца Сапегу, императрица желала выдать свою племянницу – Скавронскую. И вот, по воле Рабутина, прежние друзья стали врагами, а враги – друзьями. Меншиков сошёлся с Голицыным, Долгоруким, а Толстой, Апраксин и прежний союзник Меншикова, герцог Голштинский, оказались его открытыми врагами. К ним примкнули Бутурлин, обойдённый Меншиковым по службе, и Девьер, женатый на родной сестре светлейшего, озлобленный против него за постоянные оскорбления, которые он наносил ему.

Анна Иоанновна, ничего не добившись, уехала обратно в свою Курляндию.

Волконская смутилась и потерялась. Не послушавшийся её Рабутин, которого она хотела вести и направлять, оказался досадно и обидно прав. Ничтожная, слабая, как вышло теперь, попытка её получить долю влияния на высшие события была точно неудачною попыткою, а вовсе не серьёзным государственным делом. Аграфене Петровне казалось, что тут-то и есть самое настоящее, которое так сразу, сейчас – стоит лишь съездить сюда, побывать там – и придёт к ней; но "настоящее" было, очевидно, в руках этих Меншиковых, Рабутиных и им подобных, а для Волконской, как доской, прихлопнулись высшие цели и планы. Она могла хлопотать о звании гофмейстерины себе, о графском титуле для отца,

сообщать брату в Копенгаген о том, что делалось в Петербурге; но свергнуть Меншикова ей было не под силу. И как она не могла подумать об этом раньше?

Она сердилась на себя, на Рабутина, на Долгорукову, на всех, и несколько раз поссорилась в это время с мужем.

Но вместе с тем она сознавала, что из всех её благоприятелей самым сильным и по значению, и по положению был всё-таки Рабутин. И вот, вместо того чтобы "вести" его или "направлять", ей пришлось употребить все свои усилия думать об одном лишь, чтобы этот человек остался для неё благоприятным и, удержавшись и получив значение избранным им самим путём, оказывал ей п о д д е р ж к у. Сознаться, что это было просто покровительство, она даже сама пред собою не хотела.

После своей ничем не кончившейся суеты Аграфена Петровна вдруг увидела, что у неё стало очень много свободного времени, после того как она минуты – казалось ей – не имела покоя.

Она не то что упала духом, но сделалась капризна, скучна и нервно-обидчива. С сыном она всегда была ласкова и единственно на него не сердилась. Князь Никита внимательно следил за состоянием её души, ни о чём не расспрашивал, не старался узнать внешние причины её состояния, но ему было ясно, что именно происходило в его Аграфене Петровне, и он был доволен этим. Судьба, казалось, сама вела её к тому, чему она не могла поверить в слова Никиты Фёдоровича. Он ждал, утешал её, когда было нужно, и терпеливо переносил её вспышки и раздражение.

Аграфену Петровну раздражали в муже его спокойствие, отсутствие суеты и постоянство. Пред нею, на её глазах, были два совершенно различных человека: один, князь Никита, как будто ничего не делавший и вместе с тем занятый целый день, и другой – Рабутин, всегда весёлый, самоуверенный, беззаботный, всегда свободный, но "делавший очень много". У каждого из них, казалось, была своя особая цель, и каждый шёл к ней, не сбиваясь и не спеша. При этом в них обоих, как ни казались они различны, было что-то общее – это мужское, упорное

терпение, выдержка, может быть, воля – обижавшие её женское самолюбие. С этим неуклонным "чем-то" нужно было примирить свою горячность и подчиниться, вместо того, чтобы "подчинить" себе и направлять.

Она знала, что так же, как она может добиться от Рабутина, если захочет, звания для себя или титула для отца, она может заставить мужа сделать какой-нибудь расход, прийти просить к ней прощения, когда, пожалуй, сама виновата пред ним; но самое суть их деятельности она не в силах была изменить.

Рабутин ей был совсем чужой человек. Князь Никита был муж, которого она любила, и, несмотря на то, что она ни в чём так не горячилась, то есть не сердилась, как говоря с ним, потому что ни с кем не могла и не умела говорить, ничего не утаивая, откровенно – всё, что есть на душе, – несмотря на это, никто не мог её так успокоить, как муж, и ни с кем ей не было так хорошо и светло, как с ним.

Она, в особенности теперь, скучая открывшимся для неё свободным временем, часто вечером приходила к нему, садилась сзади на диван, и он оборачивался к ней и заговаривал, причём всегда о чём-нибудь своём, запутанном, но светлом и хорошем, производившем успокоение.

Тогда, при виде этой его заваленной книгами, заставленной склянками и ретортами комнаты, где среди простых стульев и столов стояла одна мягкая кушетка для неё, – при виде его худого, с большим ртом и горбатым носом лица, освещённого каким-то внутренним, знакомым и милым ей огнём вдохновения и улыбкой смотрящих в душу серых глаз, – Аграфена Петровна переносилась в иной мир, далёкий от всего, что было за рубежом этой комнаты, и ей дышалось легче, и она любовалась с в о и м князем Никитой, потому что знала: "Вот он каким был!"

Раз как-то он особенно понравился ей. Это было после того, как она, когда в ней улеглась поднятая неудачей желчь, рассказала ему всю историю.

Волконский выслушал жену не перебивая, зная, что нужно дать выговориться ей и что после этого ей будет легче.

– Господи, сколько во всём этом потрачено даром силы! – когда она кончила, проговорил он, откидывая назад свои белокурые, лежавшие неправильными прядями, волосы, которые он, перестав стричь, давно перестал также прятать под парик. Затем он встал со своего места и с обрадованным лицом подошёл к жене. – Знаешь что, Аграфенушка, – заговорил он своим особым, "внутренним", как она называла, голосом, садясь возле неё на кушетку, – я сколько раз замечал, что, когда ты вот так приходишь ко мне, я всегда читаю в этот час именно то, что тебе нужно, то есть то, что я могу рассказать тебе в ответ на твой рассказ. Это выходит всё равно, как вот в таком случае: когда на что-нибудь не находишь ответа – возьми хорошую книгу и открой на первом попавшемся месте, и всегда выйдет удивительно верно, и всё станет ясно.

– Ну, о чём же ты читал? – спросила Аграфена Петровна.

– А вот сейчас: ты знаешь, как жил святой Алексей Божий человек? Это удивительно! Его отец был в Риме знатным и богатым лицом. Его невеста была прекрасна и из царского рода... И он добровольно отрёкся и от знатности, и от богатства, и от всего и ушёл нищим в далёкий город, где стал питаться чем Бог послал... Как ты думаешь, что труднее: отречься от богатства и почестей, когда они уже есть, или достичь их, когда их нет? И для того и для другого нужно то, что немцы называют Energie [9] , но для первого нужно её в гораздо большей мере. Слушай дальше!.. Святой Алексей молился, постоянною молитвою угодил Богу и своею жизнью стал известен. И вот совершенно с другого конца подползает к нему, к его духу, то есть соединённому с плотью, новое земное искушение – то, что люди называют славою!.. Понимаешь ли, он достиг опять иным путём, уже не богатством и знатностью, но лишением, нищетою того же, то есть славы, известности,, значит, известных почестей, потому что он сделался чтимым... Постой, не перебивай, – остановил князь Никита жену. Он встал со своего места и продолжал стоя: – И что же сделал Алексей? Он ушёл от этого соблазна; он удалился снова в Рим и там был принят в дом отца, где его не узнали; как нищий, как убогий, как странник, он жил в этом

доме. Слуги смеялись, издевались над ним, даже били его. Он мог одним словом, открыв себя отцу, снова каждую минуту получить обратно всё, от чего отказался, и уничтожить, стереть тех самых слуг, которые потешались над ним, но не делал этого потому, что ему н е н у ж н о было богатства здешнего, земного, потому что он так глубоко осознал, что всё это – суэта: и богатство – суэта, и то, что люди называют славою, и то, что они называют оскорблением, – всё суэта!.. Послушай, Аграфенушка, ведь если наша жизнь не здесь, не на земле, а тут для нас лишь короткое испытание, то до чего мелки, до чего ничтожны покажутся все эти и оскорбления, и богатства, и я не знаю, ещё что. Господи, человеку дана сила, энергия; он может усыпить её в себе – это редко бывает, но бывает. Затем у него две задачи: он может направить свою силу или к достижению того, что требует его тело, или того, что нужно для его духа. А что тут важнее: тело или дух, – дух, который один вечен, вечен, вечен...

Князь Никита говорил, стараясь не словами, но голосом, всем существом своим передать ей то, что было у него в душе в эту минуту, и то, что он – сколько бы не подбирал слов – всё-таки не мог объяснить, как ему хотелось, этими ч е л о в е ч е с к и м и словами, придуманными для здешних, земных понятий и стремлений...

Аграфена Петровна смотрела на его просветлевшее лицо, на его раскиданные волосы и дышавшую силой и уверенным сознанием фигуру – и любовалась им. Он всегда был особенно мил ей в такие минуты.

Эта беззаветная вера, это какое-то увлекающее, горящее в его душе чувство, это упорное стремление – действовали на неё таинственно и загадочно, и бывали минуты, что она забывалась вместе с ним, и что-то лёгкое и свободное начинало шевелиться в её груди, точно она, отделившись от земли, без страха и трепета поднималась на воздух.

Подчас, когда муж говорил так с нею, слёзы навёртывались у него на глазах, и она незаметно вытирала и свои тоже влажные глаза. Тогда она почти соглашалась с ним. Но всегда случалось так, что дня через два какие-нибудь обстоятельства, как нарочно, выступят и увлекут свою

"земною" серьёзностью.

Так случилось и на этот раз.

После памятного Аграфене Петровне разговора она вскоре получила от отца известие, что Меншиков, недовольный Петром Михайловичем, который, по его мнению, недостаточно поддерживал в Курляндии его стремления, обвиняет его в злоупотреблениях по управлению именными герцогини, и дело это должно разбираться в Верховном тайном совете. Бестужев писал, что сам едет в Петербург, а пока просит дочь сделать с её стороны всё, что она может сделать, не отлагая и не медля.

Аграфене Петровне через Рабутина легко было устроить дело отца и выгородить его. Пётр Михайлович приезжал тогда в Петербург [10] , пробыл здесь месяца с два и, вернувшись в Митаву, застал там молодого Бирона, захватившего всю силу при дворе герцогини Курляндской.

Неприятности Петра Михайловича сильно повлияли на материальное благосостояние Волконских. Аграфена Петровна убедилась наконец, что нужно сократить расходы. Впрочем, эти расходы сократились отчасти сами собою. Княгиня стала меньше выезжать и не делала больших приёмов. У неё собирались только по-прежнему её друзья. Волконская, переговорив о многом с отцом в его приезд, притихла и даже нарочно старалась оставаться в стороне, заботясь лишь о поддержании сношений с Рабутиным и близко стоявшими к великому князю людьми, между которыми был и Маврин, обиженный теперь своим подчинением Остерману, назначенному Меншиковым в звании обер-гофмейстера к великому князю. А затем она решила выждать, что будет.

VI ПОДМЁТНОЕ ПИСЬМО

Шестого мая 1727 года, в девять часов пополудни, государыня скончалась.

Все меры были приняты, и великий князь взошёл на всероссийский престол беспрепятственно. Меншиков стал верховным, полноправным правителем государства. Юного императора он перевёз к себе в дом на Васильевский остров.

Едва лишь окончились тревоги первых дней, светлейший призвал к себе Остермана.

– Ну, барон, Андрей Иванович, мне нужно с вами очень серьёзно поговорить, – сказал он ему, приведя к себе в кабинет и заперев двери.

На вид хилый, больной, казавшийся старше своих лет и постоянно твердивший о своих недугах, Остерман казался теперь несколько бодрее обыкновенного.

– Что нужно, о чём, собственно? – спросил он.

Меншиков только что позавтракал и, тяжело дыша, опустился в кресло.

– Нужно будет подумать о науках императора: ведь это – серьёзное дело.

– Я думаю, – начал Остерман, разглаживая свой синий камзол и оправляя кружевные манжеты, – что не следует спервоначалу налегать на него. Можно испугать ребёнка наукой, и тогда ничем уже не приохотишь, а так, понемножку, понемножку...

– Конечно, понемножку, – не столько согласился, сколько повторил последние слова барона Меншиков, не перестававший тяжело дышать.

– Я представлю свой план, – продолжал Остерман, – и, согласно этому плану, увидим... Нужно отдать справедливость Петру Алексеевичу: он очень мало знает. Маврин точно ничего не делал.

Меншиков рукою махнул.

– Не нравится мне этот Маврин, ох, не нравится! – снова заговорил барон. – Эти постоянные сборища у Волконской...

– Да-а, – подтвердил светлейший, – я кое-что знаю про княгиню Аграфену – так, что ли, зовут её? (он нарочно сделал вид, что не помнит имени Волконской) – в письмах у Девьера есть и её цидульки... ничего – изрядные...

– Да тут не одна Волконская, – положим, она составляет центр, – а вот и Ганнибал, тут их несколько, – возразил Остерман. – Они затеяли с Мавриным очень опасную штуку, знаете, вот как ястребы круги делают, и всё уже, уже, а потом и ударят в точку. Так вот и они вокруг императора, да уже давно, всё свои круги суживают.

– Так что ж, взять их, как других взяли! – выговорил Меншиков сквозь свою одышку.

Остерман, подняв углы губ, смотрел на светлейшего несколько времени молча. Глаза его улыбались.

– "Взять", "взять"! – тихо повторил он наконец. – Всё у вашей светлости одна сила на уме. Во-первых, нужно придумывать причины для ареста, во-вторых, неудобно пред Рабутиным – он Волконской не выдаст.

– Я посмотрю, как кто-нибудь посмеет помешать моему приказанию, – вдруг возвысил голос Меншиков, – велю, да и всё тут.

– Нет, светлейший князь, нет, – покачал головою Остерман, – всё-таки нельзя везде всё одно только силой делать. Ну, и что же за охота женщину арестовывать?.. как-то неловко даже. Нужно иногда и страсти человеческие принять во внимание: это – очень хороший инструмент для игры... им хорошо пользоваться. У Волконской есть муж...

– Справлялся о нём, – снова махнул рукою Меншиков, – никуда не годный человек, сумасшедший какой-то.

– Ну, я думаю, не совсем! Я имею кое-какие сведения... Ну, так вот, нужно ему открыть глаза на шашни его жены с Рабутиным, а там и посмотрим, что за история выйдет. Волконский – я его знаю немножко – не выдержит, и у него произойдёт что-нибудь с Рабутиным. А тогда граф перестанет быть заступником княгини или же Волконский увезёт в деревню Аграфену Петровну, а без неё вся компания рассыплется.

– Делайте как знаете, Андрей Иванович, – решительно проговорил Меншиков, – пока мне эта компания не опасна, а если только замечу что, так просто пошлю забрать их, да и дело с концом.

Через несколько дней после этого разговора князь Никита получил подмётное письмо.

"А не худо бы, сиятельный князь, – говорилось в письме, – присмотреть изволить за жёнкою своею, потому она не православным делом занимается, и цесарский посланник Рабутин, граф, сильную ситуацию при ней имеет. Некрасиво, князь! Слабость мужнина довела оную до греха..."

Князь Никита не дочитал письма и, скомкав его, бросил на пол.

Это было вечером. Аграфена Петровна уехала к Долгоруковой и не возвращалась ещё.

Если бы она была дома, если бы князь Никита мог сию минуту пойти посмотреть на неё или призвать к себе, – он, может быть, взглянув на её улыбающееся лицо, рассмеялся бы сам и ничего никому не сказав об этом глупом письме, успокоился бы. Но он был один. Миша уже лёг спать.

Никита Фёдорович ходил по своей комнате, стараясь не волноваться, но чувствовал, что волнуется с каждым шагом всё больше и больше.

В жене, разумеется, он был уверен. Конечно, всё указанное в письме было вздор и клевета. Но каким образом, как могла эта клевета коснуться его Аграфены Петровны? Кто осмелился кинуть грязью в неё, чистую и милую? Мало того, если могло получиться такое письмо, – значит, вокруг его жены, его княгини, ходила эта дерзкая возмутительная сплетня. Были же и причины для неё. Сама Аграфена Петровна не могла подать повод ни к чему предосудительному. Значит, во всём виноват Рабутин. Он своим поведением, этою своею прилично развязностью, а может быть, – полунамёками, улыбками и подмигиванием в холостом кружке, дал зародиться этой возмутительной сплетне. Конечно, иначе и быть не могло. Рабутин виновен. И страшная злоба против Рабутина подымалась в груди Никиты Фёдоровича.

Он всё продолжал ходить по комнате. Скомканное письмо лежало под столом молчаливым подстрекателем его злобы. Едва князь Никита успокаивался, как оно попадалось ему на глаза и снова переворачивало всю его душу.

А Аграфена Петровна, как нарочно, не ехала.

Наконец Волконский поднял этот комок и бросил его в печку.

"Нет, – пришло ему в голову, – люди могут достать как-нибудь и прочесть".

Он открыл заслонку, с трудом вытащил из глубины холодной печи письмо и сжёг его на свечке. Но и теперь ему не стало легче.

Мысль о том, что сплетня, разговоры и пересуды существуют про

женщину, носящую его имя, не оставляли его.

Но что было делать с этим?

"Какой вздор обращать внимание на подмётное письмо!" – пробовал думать князь, но сейчас же к ужасу своему сознавал, что тут дело не в подмётных письмах, а в той причине, в тех очевидных толках, которые служили поводом к нему.

Главное, что ужасало Волконского, – это полная невозможность сделать что-нибудь, чтобы уничтожить эти толки. Казалось, говорили в с е, вероятно, все, но определённое лицо нельзя было найти. Оставался один Рабутин, против которого можно было направить свою злобу... Но что сделать с ним?

"Вызвать на дуэль? – с улыбкой, с насмешкой над самим собою, спрашивал себя Волконский. – Пойти и сказать ему, чтоб он не смел... но что не смел?.. Ах, как глупо, как скверно!" – повторял себе Никита Фёдорович, проклиная этого Рабутина.

Аграфена Петровна вернулась довольно поздно от Долгоруковой. Она прошла прямо к мужу и застала его стоящим посреди комнаты. Как только она вошла, он кинулся к ней и, взяв больно за руку, притянул к себе.

– Аграфенушка! – заговорил он изменившимся, страшным, сдавленным голосом. – Скажи мне, как меня и сына любишь, что у тебя н и ч е г о не было с Рабутиным.

Аграфена Петровна, озабоченная ещё своим делом и разговорами с Долгоруковой, не сразу поняла, чего от неё хотят.

– То есть как н и ч е г о? – спросила она наконец.

Никита Фёдорович тут только заметил, что требовал от жены, чтобы она своею к нему любовью подтвердила эту же любовь.

– Ах, нет, не то! – воскликнул он, хватаясь за голову.

– Да что с тобою, что? – уже беспокойно обратилась к нему жена.

Волконский напряг все силы, чтобы овладеть своими словами и прийти в состояние – говорить, думая о том, что говорит.

– Постой, сядь вот тут, не тревожься! – начал он, успокаивая жену, как

будто не он, а она главным образом тревожилась. – погоди!.. Представь себе, если бы в с е, – он сделал кругообразное движение рукою, – начали говорить, что... что ты и з м е н и л а мне, – с трудом проговорил он наконец.

– Это была бы клевета, – спокойно ответила княгиня.

– Знаю, уверен в том... но с этой клеветою нужно считаться... нельзя оставить её...

– Конечно, – нехотя возразила Аграфена Петровна, – но только что тебе за охота создавать себе ещё тревогу?.. Мало ли что было бы, если бы было, да пока этого нет... Я веду себя...

Она не договорила, потому что вдруг подумала о Рабутине и вспомнила, что при всей чистоте своих отношений к нему она с удовольствием видела, как этот красивый, молодой австрийский граф ухаживал за нею на собраниях, и знакомая уже краска покрыла её щёки.

– Ну, а если есть, если я не выдумал это? – не переставая волноваться, снова сказал князь Никита.

– Полно, что там есть!.. дался тебе этот Рабутин! – начала было Аграфена Петровна.

При этом имени, назвать которое нарочно теперь избегал князь Никита, злоба его поднялась, и он, снова теряя способность владеть собою, заговорил, не помня себя:

– Так знай же, что в городе только и говорят про это, что я п о л у ч а ю подмётные письма, что ты сделалась сказкой.

Он с каким-то даже наслаждением говорил теперь, преувеличивая и чувствуя каждое своё слово, приносившее ему несказанное мучение и боль.

Аграфена Петровна сначала испуганно взглянула на мужа, потом как бы молния пробежала по её лицу, и она, гневно сдвинув брови, заговорила, точно не желая оставаться в долгу пред мужем в отношении неприятных известий. И у неё было чем испугать его.

– Ну, и что ж? Там какие-то сплетни, – заговорила она, – а у меня дело серьезнее... Меншиков принимает крутые меры: вышел указ, по которому

из-за ничего Девьера, Толстого, Бутурлина, Нарышкина и ещё многих ссылают... и со мной не поцеремонятся... и меня арестуют...

Это слово "арестуют" княгине тоже приятно было выговорить: оно звучало так торжественно-значительно и вместе с тем было страшно.

Никита Фёдорович взялся за голову.

Аграфена Петровна с улыбкой, без жалости посмотрела на него, потому что сознавала, что не ей теперь, а "её" следует жалеть.

– Но что же делать теперь? – протяжно, с отчаянием произнёс князь Никита.

– Что делать? – вставая и вскинув руками, сказала Аграфена Петровна.

– Не уступать и бороться.

Вслед затем она медленно повернулась и ушла к себе. Князь Никита не скоро ещё отнял руки от головы и огляделся.

"Слишком далеко, слишком далеко зашло дело, – повторял он себе, – во всём виноват сам... Господи, зачем приехали сюда мы! Зачем этот Петербург!"

"Уехать из этого омута, уехать завтра же, навсегда! – пришло ему в голову, и он было обрадовался этой мысли, но затем подумал: – Да, уехать, но это будет позорным бегством, которое ничему не поможет, – имя жены останется всё-таки с прилипшею к нему сплетней, и бежать от неприятных обстоятельств – вовсе не значит победить их. Боже мой, что же делать?"

Часы шли, Никита Фёдорович забыл, что наступила ночь, забыл про сон. Он сидел у своего стола, облокотившись на руку, и ничего, казалось, не видел своими открытыми, не смыкавшимися глазами. Наконец он поднял их. В комнате был особенный синеватый свет, которого он не ожидал. Его поразили квадраты окна, они, как будто ещё так недавно, с вечера тёмные, теперь были совсем светлыми. А произошло это оттого, что рассвело. Восковая свеча на столе горела красным, тусклым пламенем, потерявшим всю свою яркость и силу.

Князь Никита потушил свечку, и на минуту словно от этого стало легче. Он поднялся со стула и постарался вытянуться. Он чувствовал в ногах и

руках какую-то болезненную, ноющую усталость, голова кружилась.

Князь Никита, не ощущая в себе желания сна, медленно прошёл на половину к жене по освещённым уже рассветом комнатам и, тихонько приотворив дверь, заглянул в её спальню. Комната была темна от спущенных гардин. Никита Фёдорович, присмотревшись, разглядел белый кружевной чепчик жены и, наконец, её лицо с закрытыми глазами и неподвижно разжавшимся ртом. Аграфена Петровна, тяжело дыша, спала... Нагоревшая, оплывшая свечка, видимо, была недавно потушена – Аграфена Петровна тоже провела почти сплошь бессонную ночь.

Князь Никита издали перекрестил её и на цыпочках, стараясь не задеть за мебель, вернулся к себе, потом взял шляпу, трость и вышел из дома.

Был шестой час утра, Петербург только что просыпался. Солнце уже взошло, блестя своими лучами, но не грело ими. Князь Никита пошёл без цели, без мысли, он рад был, что мысли оставили его.

По мере того как он шёл, улицы всё больше и больше оживлялись.

Князь Никита сосредоточивал все свои способности мышления на то, куда повернуть, когда приходилось дать дорогу встречным, или как обойти попадавшуюся под ноги лужу; больше ни о чём не мог думать, ни даже о том, куда и где идёт он.

Он очутился таким образом на Берёзовом. Здесь уже было очень многолюдно. Прохожие то и дело попадались навстречу, а недалеко впереди у рынка стояло много людей. И вдруг откуда-то сзади раздался дребезжащий, рассыпавшийся, слышный всё ближе и ближе барабанный бой. Князь Никита оглянулся. По улице приближались мерным шагом, с рядом барабанщиков впереди, солдаты, блестящие на солнце своими пуговицами и вооружением. Из-за их киверов виднелось что-то высокое, тёмное, подвигавшееся сзади с мерным колыханием, точно гроб на погребальных дрогах.

Князь Никита посмотрел снова вперёд, – там, где стояли, скучившись, люди, теперь возвышался над ними на помосте у столба палач, в красной рубахе с засученными рукавами.

Барабанный бой становился слышнее и слышнее. С Волконским

поравнялась шеренга барабанщиков, отбивавших молодцевато, со старанием, мелкую дробь. За ними (они шли очень скоро) промелькнули солдаты, за солдатами две тощие лошадки везли чёрную телегу с высокою скамейкой, на которой сидел со связанными назад руками, в каком-то тёмном длинном одеянии живой человек, бессильно покачиваясь всё на одну сторону при каждом толчке телеги.

Никита Фёдорович поднял на него взор.

Знакомое, но теперь бледное, жалкое, осунувшееся лицо Девьера глянуло на него с высоты позорной телеги. Зрачки несчастного подкатились под верхние веки, и рот точно улыбался тою кривою, якобы с п о к о й н о ю улыбкою, в которую предсмертная судорога сводит обыкновенно губы покойников. Но Девьер был жив. Грудь его тяжело и неровно дышала, брови изредка поднимались, и тогда на его лице являлось какое-то испуганно-детское выражение.

Князь Никита остановился. Он понял и сознал, что происходило пред его глазами; но вместе с тем, несмотря на это сознание, в его голове мелькнул совершенно лишённый здравого смысла вопрос:

"Куда же это едет Девьер?"

Телега проехала, стуча колёсами. Барабаны трещали несколько дальше, и Волконского со всех сторон охватила спешившая за телегой толпа, бежавшая с лестницами, скамейками и табуретками, чтобы было на чём стать и лучше видеть предстоящую казнь. Эти раскрасневшиеся от скорого бега лица, жаждавшие готовившегося зрелища, эти дикие крики и брань, это исступление, которым была охвачена толпа, точно отняли у Волконского воздух, которым он дышал, в глазах помутилось, и он закачался. Сильный толчок в грудь заставил его опомниться. Какой-то рыжий детина в кожаном фартуке столкнулся с ним и, обругавшись, бежал уже дальше. Толпа замяла в своей середине Волконского и повлекла его к месту казни.

Там уже вводили Девьера на помост. Он, по-прежнему подёргивая бровями и тяжело дыша, не подавал никаких других признаков жизни, ступая в гремевших кандалах, точно не он, а кто-нибудь другой двигал

ногами. Его подвели к столбу. Палач быстро и скоро развязал ему руки и, приподняв, продел их в железные, привязанные высоко к столбу, кольца. Палач сделал это с серьёзным, сосредоточенным лицом, видимо, стараясь только как можно лучше и добросовестнее исполнить свою обязанность. Потом он отошёл несколько в сторону и протянул вбок, не глядя, правую руку. Молодой парень, тоже в красной рубахе, очевидно помощник палача, поспешно вложил в эту руку тяжёлую ремённую плеть.

Князю Никите были хорошо видны затылок коротко остриженной головы Девьера и его белая, мускулистая, освещённая солнцем спина, когда именно и кем обнажённая – Волконский не заметил.

Барабаны перестали бить. Только что гудевшая на разные голоса толпа безмолвствовала, и в наступившей тишине поразительно ясно раздался свист поднявшейся плети.

– Раз! – рывкнула толпа в один голос.

Плеть свистнула снова, а на той белой спине, на которую глядел, как сумасшедший, Никита Фёдорович, вздувался уже, багровея от притекавшей крови, широкий рубец первого удара.

Князь Никита отвёл глаза, посмотрел вокруг себя и встретился с ухмылявшимся, противным лицом одного из своих дворовых. Больше он ничего уже не помнил.

VII СМЕРТЬ

Никита Фёдорович очнулся у себя в комнате. Он открыл глаза и сейчас же узнал эту комнату, несмотря на то что в ней многое переменялось, – большинство книг куда-то вынесли, аппараты составили зачем-то в угол. Сам князь Никита лежал на постели, которой никогда не было здесь прежде. Кушетка – "её", Аграфенушки, кушетка – стояла, придвинутая к стене, в ногах его кровати. Но больше всего удивила Никиту Фёдоровича рука, лежавшая на его груди. Она была совсем прозрачная, словно восковая, и до того худа, будто кожа обтягивала одни сухие кости. Белая простыня была совершенно одного с нею цвета. Князь Никита догадался, что эта рука, которую он не узнал, – его рука, и с трудом шевельнул ею.

Окна были чем-то завешаны. Свет шёл сзади, по-видимому, из одного только окна, которое оставалось открытым. Всё было тихо. В комнате, казалось, никого не было.

Но только что князь шевельнул рукою – дверь скрипнула и приотворилась. Миша сначала просунул голову, а затем, тихонько войдя, вдруг быстрыми шагами подошёл к кровати.

– Лаврентий, батюшка пришёл в себя! – радостным шёпотом проговорил он.

Сзади от света подошёл Лаврентий.

– Князинька, родной, голубчик! – заговорил он, заглядывая в лицо Никите Фёдоровичу, и, увидев сознательную улыбку на этом лице, просиял весь и, опустившись, припал к бледной руке. – Насилу-то... ну, слава Богу!..

Миша стоял с намернувшимися на глазах слезами, радостный, видимо не зная, что ему сделать.

– Батюшка, батюшка! – шептал он только всё чаще и чаще и, наконец, разрыдался.

– Княгинюшке сообщите, ваше сиятельство, – сказал ему Лаврентий, – она измучилась ведь.

Миша, напрасно сиюсь сдерживать свои слёзы, торопливо пошёл из комнаты.

Через несколько минут пришла Аграфена Петровна. Она явилась бледная, исхудалая. Лаврентий был прав, что она измучилась. С нею вернулся Миша.

Аграфена Петровна приблизилась к мужу быстрыми, взволнованными шагами и, видимо, привычным уже движением приложила руку к его голове, потом низко нагнулась над его лицом, посмотрела ему в глаза и улыбнулась.

Князь Никита тоже улыбнулся ей.

Она была без своей обыкновенной высокой причёски, в белом ночном чепчике и капоре.

– Пошли за Блументростом, – обратилась она к Мише, – он велел дать

знать, если будет перемена. Лаврентьюшка, а ты бы теперь отдохнуть пошёл – теперь уже можно. Я посижу.

Миша снова пошёл, но Лаврентий не двигался.

– Лаврентий, ты слышишь? – сказала Аграфена Петровна.

Старый слуга поднял голову. Князь Никита глазами показал ему, чтобы он слушался "её".

– Княгинюшка, я сам за лекарем сейчас побегу, – сказал Лаврентий.

– Ты поезжай лучше, я не велела раскладывать карету, – проговорила ему вслед Аграфена Петровна.

Князь Никита хотел приподняться, но из его усилий ничего не вышло.

– Шш!.. Не шевелись! – остановила его жена. – Погоди, приедет доктор.

– И да... да... и давно я так? – с трудом выговорил князь Никита.

– После, после всё расскажу, теперь не говори и не двигайся! – опять остановила она, поправляя одеяло.

Князь послушно и кротко взглянул на жену.

Блументрост не заставил долго ждать себя. Лаврентий нашёл его в академии и сразу привёз.

– Ну, вот мы и поправились, – заговорил он, входя и потирая руки, – ну, теперь всё пойдёт хорошо. Поздравляем, поздравляем! – Он не спеша поздоровался с княгиней, оглядел комнату и, видимо, оставшись доволен порядком, подошёл к больному, пощупал ему голову, сказал "хорошо!", подержал за руку повыше кисти и тоже сказал "хорошо". – Теперь нужно будет давать только подкрепительную микстуру, – обратился он к Аграфене Петровне, – я вам её пришлю. Если он захочет есть – дайте ему молока, суп тоже можно, а больше пока ничего.

Блументрост скоро уехал, сказав, что у него в академии много дела и что вечером он заедет на всякий случай. Уходя, он дружески потрепал Мишу по плечу, как старый знакомый.

Аграфена Петровна только по уходе доктора оживилась и пришла в себя. Она села к мужу на кровать и, глядя его руку, заговорила с ним:

– Господи, как ты напугал нас! Ведь вот уже двенадцать дней, как ты без памяти... как тебя принесли тогда...

Никита Фёдорович силился вспомнить, откуда это и как принесли. У него оставалось смутное впечатление чего-то страшного и ужасного.

– Нет, но кто меня удивляет, – нарочно переменяла вдруг тему разговора Аграфена Петровна, – так это Миша. Представь себе: он не отходил... положительно... иногда ночью придёт и сидит... сколько раз засыпал здесь. Мешает, а прогнать жаль... Ты попробуй уснуть теперь... Хочешь, я дам поесть, а потом усни...

И она послала Лаврентия за молоком и супом.

Княгиня ощущала теперь то особенное волнение, которое приходит всегда после долгого и напряжённого беспокойства, когда причина этого беспокойства исчезнет. Под влиянием этого волнения ей хотелось говорить, и она говорила, заставляя в то же время молчать Никиту Фёдоровича. Иногда она останавливалась, боясь утомить его; но он делал усилие, как будто желая спросить, и она снова начинала о чём-нибудь, но старалась говорить как можно медленнее и тише.

Князь Никита слушал голос жены, музыку его, как будто радуясь звуку её речи, и старался вникнуть в смысл её слов, но это стоило ему больших усилий. Он не мог как-то удержать в памяти то, что слышал, и уловить связь слов. Ему хотелось всё что-то вспомнить, совсем постороннее, и он не мог сделать этого. Несколько раз как будто мысли его уже начинали слагаться в последовательную цепь, но в тот самый момент, когда ему казалось, что вот он вспомнил уже, кто-то, словно пену, сдувал его мысли – и всё оставалось по-прежнему гладко и неопределённо, и снова начиналась, завязывалась цепь, и снова обрывалась.

– А что случилось с ним? – вдруг вслух спросил он.

Аграфена Петровна, рассказывавшая в это время о распустившихся цветах в саду, вдруг смутилась. Она поняла, что князь Никита спрашивает о Девьере, и не знала, ответить ли ей на вопрос или отвлечь внимание мужа.

Он смотрел на неё с серьёзным лицом и совсем осмысленными глазами.

Аграфена Петровна решила, что сказать будет лучше.

– Ты про кого? Про Девьера? – спросила она. – Он, получив двадцать

пять ударов, вынес их, г о в о р я т, л е г к о и отправлен уже в ссылку в Сибирь, – добавила она, стараясь говорить как можно ровнее и спокойнее.

И вдруг вся виденная картина у рынка на площади стала во всех своих подробностях пред глазами князя Никиты. Толпа загудела кругом, в виски застучало, затрещали барабаны – и всё смешалось. В воздухе явилось множество рук, видных до локтя, и все они как-то одна из под другой замахали в глаза Никите Фёдоровичу и сделались сквозные, красные, точно насквозь пропитанные горячим, жгучим светом. Он заметался по постели и снова впал в беспамятство.

Аграфена Петровна с ужасом глянула на него и в отчаянии протянула руки. Князь Никита бился уже, бредил и не узнавал жены.

Вечером Блументрост застал его в худшем, чем в первые дни, положении. Такого скорого повторения припадка горячки, как он определил болезнь Волконского, он не ожидал и объявил, не скрывая, что больной уже в безнадежном состоянии.

Князь Никита перестал быть человеком. Он потерял всякое ощущение, всякую возможность сознания. Он чувствовал вокруг себя свинцовый, тяжёлый туман, голова его будто раздавалась во все стороны и достигала ужасающих размеров... Необыкновенные, частые, шипящие и трещащие звуки неслись откуда-то и сталкивались и сплетались, но всё так же мерно отбивали однообразный такт с одинаковыми промежутками.

"Ха-а-а... а-а..." – шипело у него в горле, и он не знал, что разговаривает в это время.

Так он без умолку, не переставая, говорил ровно сутки, но сам он уже давно потерял счёт времени и даже забыл о его существовании.

Наконец, вдруг мало-помалу (для Никиты Фёдоровича т е п е р ь это было всё равно) опустились в его душу мир и покой. Слышалось тихое церковное пение, дым камины стлался в воздухе, и парчовая риза священника ломалась красивыми складками. Кто-то сдержанно плакал возле.

"О чём же тут плакать, когда мне т а к хорошо? – подумал Никита

Фёдорович. – Но что же это всё такое?.. Я умер, должно быть, – решил он, – и это по мне служат... Так вот оно что, вот что значит смерть... вот она... И всё видишь и чувствуешь... как хорошо!.."

Но кровать и комната остались прежними и как-то слишком уже не изменилось.

"Соборуют меня – вот что", – опять догадался Никита Фёдорович и стал вслушиваться в молитвы, и сейчас же заметил, что служат молебен.

Аграфена Петровна, когда Блументрост сказал, что надежды нет и его наука бессильна, подняла образ из Троицкой церкви и решила отслужить молебен у постели больного мужа.

И князь Никита вернулся к жизни.

Когда священник, окончив молебен, тихо и торжественно подошёл к постели Волконского, бережно держа обеими руками крест, и, увидев открытые глаза больного, приложил этот крест к его губам, Аграфена Петровна, как бы боясь, что это потревожит умирающего, сделала движение вперёд; но князь Никита совершенно твёрдою рукою перекрестился и спокойно поцеловал крест.

С этой минуты началось его выздоровление.

Он с каждым днём стал чувствовать себя крепче. Не прошло недели, а Никита Фёдорович уже аккуратно принимал подкрепляющую микстуру Блументроста, ел суп, пил молоко и спал спокойным, восстанавливающим силы сном. Голова его совершенно прояснилась, он мог всё сообразить и связно думать.

Все кругом говорили, что над ним свершилось чудо.

Князь Никита лучше других понимал, что чудесный возврат его к жизни был особенным проявлением Божественного Промысла, и больше других удивлялся Его проявлению. Никита Фёдорович не только не боялся смерти, не видел в ней ничего, решительно ничего страшного, но, напротив, ждал её как освобождения, которое должно наступить рано или поздно. Дух его, в бессмертии которого он был твёрдо уверен, рвался наружу, рвался из оков земного тела на свободу, к новой жизни. Что было хорошо здесь, на земле? Любовь его? Но он знал, что она не умрёт.

И вот это освобождение, эта воля так были близки от него; казалось, он мог уже получить их, – и вдруг его вернули к прежней земной жизни, где снова являлись Рабутин, зависть, сплетни и неминуемые, всасывающие в своё течение человеческую волю, обстоятельства.

Конечно, умереть было лучше. Да и что значит у м е р е т ь? Ведь страшно только одно слово, но сама смерть страшна лишь своею таинственностью. Почём знать, может быть, на самом деле рождение гораздо страшнее смерти, а между тем как мы радуемся ему!

"А жена, а сын? – подумал вдруг князь Никита. – Разве я не нужен им?"

И себялюбивое желание смерти показалось ему недобрым и нехорошим. Какое он имел право желать себе одному освобождения, когда его семья оставалась тут?

Кроме того, не бояться смерти не значило ещё заслужить её, заслужить в том виде, в каком желал князь Никита.

Таким образом, он должен был ещё жить и для себя и для своих близких. Должен был вернуться в эту земную жизнь, – пусть вместе с нею возвращалось то безвыходное положение, в которое он был поставлен в день, когда заболел. Болезнь и то время, которое прошло с её начала, разумеется, нисколько не изменили к лучшему, а, напротив, вероятно, ухудшили это положение.

Клевета по-прежнему ходила про княгиню Волконскую, и не было, казалось, способа уничтожить её.

Напрасно выздоравливающий князь Никита переворачивал в мыслях и передумывал на все лады всё тот же вопрос: как быть? Он не находил выхода.

Ни Аграфена Петровна, ни кто-нибудь из окружающих не заговаривал с Волконским ни о чём, что могло бы взволновать его. Сам он, несмотря на то, что постоянно только и думал об одном и том же, тоже не начинал речи с Аграфеной Петровной, может быть, даже потому, что она каждый раз, когда дело касалось хотя бы отдалённого намёка, очень искусно отводила разговор в совершенно другую сторону.

Таким образом, точно сама собою установилась для Никиты Фёдоровича

привычка говорить о самых ничтожных пустяках и безмолвно думать свою тревожную думу.

А ведь на самом деле положение было безвыходно. Если даже настоять на том, чтобы Аграфена Петровна не принимала у себя Рабутина, и это не могло помочь, скажут: поссорились, разошлись, что ж такое, это ещё ничего не значит.

Никита Фёдорович оправился уже настолько, что встал с постели. Аграфена Петровна и Миша, довольные и счастливые этим событием, пришли поздравить его, и он при них, улыбаясь и конфузясь, робко сделал первые свои шаги по комнате, нетвёрдо держась на ослабевших ногах.

Блументрост тоже заехал поздравить его и сказал, что теперь будет навещать его только раз в неделю, потому что всё идёт "хорошо".

В следующий свой приезд доктор застал Волконского уже сидящим у открытого окна. Погода была действительно жаркая, но Блументрост счёл своим долгом упрекнуть Никиту Фёдоровича.

– Ну как же так можно!.. Того гляди, сквозняк прохватит; тогда что будет? – начал он, здороваясь.

– Да уж пора, – ответил Волконский совсем твёрдым голосом.

Блументрост оглядел его.

– Что ж, вы уже совсем поправились? – сказал он, и уже не тем тоном, каким обыкновенно говорят доктора с больными, точно будто с детьми, ласково-снисходительно, но совсем просто, как с р а в н ы м, то есть оправившимся и вышедшим из его повиновения человеком.

– Присядьте, доктор, – пригласил его Никита Фёдорович.

Блументрост был не в кафтане, но в обыкновенном сером оберроке с медными пуговицами, в синих с красными стрелками чулках и башмаках с серебряными пряжками. Видимо, он был свободен и не ехал ни в академию и никуда особенно.

– Хотите кофе? – спросил Волконский, зная пристрастие доктора к этому напитку, который, однако, далеко ещё не всеми был оценён по достоинству.

Но Блуменрост отказался даже от кофе.

– Нет, нет, мне сейчас нужно ехать... у меня дело, – сказал он.

– Какое же может быть дело! Полноте, садитесь! – настаивал Никита Фёдорович.

– Вы смотрите на мой оберрок – это ничего не значит. У меня дело такое, что туда можно ехать и так.

– А что, навестить кого-нибудь?

– Нет, на вскрытие трупа Рабутина, – проговорил Блуменрост.

– Как Рабутина?! – крикнул Никита Фёдорович, и то удивлённое, испуганное восклицание поразило Блуменроста.

Скоропостижная смерть молодого австрийского графа уже два дня была таким из ряда вон выходящим событием в Петербурге, что её знал всякий, и Блуменрост никак не мог думать, что от совсем выздоровевшего Никиты Фёдоровича скрыли это по совершенно особым причинам, из боязни взволновать его именем Рабутина.

Волконский схватился ладонями за ручки кресла, кинулся корпусом вперёд и, вскочив со своего места, испуганными глазами взглянул на Блуменроста.

– Что вы сказали, доктор? – произнёс он.

– А вы не знали? – смущаясь, проговорил Блуменрост. – Ну, не раскрывайтесь, сядьте! – и он, запахивая халат Никиты Фёдоровича и его рубашку с широкой оборкой, почти насильно посадил его в кресло. – Я не знал, что вам не сообщили ещё. Ну, мне пора!

– Нет, доктор, постойте... погодите! Я не пущу вас, мне нужно знать всё, – произнёс Никита Фёдорович, обдёргиваясь и торопясь.

Блуменрост, не подозревая, почему скрыли от Волконского смерть Рабутина, не мог сейчас ни у кого найти себе помощи, потому что Аграфены Петровны не было дома.

Старик Лаврентий стоял тут, видел, что известие доктора произвело на его "князеньку" сильное впечатление, что он вдруг заволновался весь, но тоже ничего не знал и не мог помочь.

– Зачем же вы его будете вскрывать? – спросил Волконский и

нетерпеливо забарабанил по подоконнику пальцами, впившись глазами в Блументроста.

Доктор подумал с минуту.

– Скоропостижная смерть, – проговорил он наконец, видя, что отступление невозможно. – А человек важный, нужно дать знать австрийскому двору подробные причины...

– И когда же это случилось? – снова спросил Волконский.

– Третьего дня вечером... Он был у Марфы Петровны Долгоруковой... разрыв сердца, должно быть.

– У Марфы Петровны? – медленно роняя каждый слог, проговорил Волконский.

– Да, теперь это – уже не тайна. У Долгоруковой были гости... потом уехали... Никто не видел, как прошёл Рабутин... и вдруг... Теперь только и говорят, что о ней и о графе.

Князь Никита облокотился на спинку кресла и закрыл глаза. Безвыходное положение кончилось. Неразрешимый вопрос получил решение сам собою.

– Всё к лучшему! – тихо, про себя, сказал Никита Фёдорович и, открыв глаза, удивлённо посмотрел на Блументроста, точно не ожидал видеть его пред собою.

– Выпейте воды, – сказал между тем доктор, подавая стакан.

Волконский отстранил воду и твёрдым голосом сказал:

– Не надо!

Аграфена Петровна давно уже приехала домой, но не велела говорить о себе мужу. Она, вся взволнованная, ходила по своему кабинету, стараясь прийти в себя, чтобы потом подняться к князю Никите совсем спокойною и не подать ему вида своей тревоги. Она только что узнала, что в доме Рабутина, сейчас после его смерти, был произведён обыск и захвачена переписка графа, между которою было много и её писем, очень серьёзных. Вместе с этою перепиской и она сама, Аграфена Петровна, попадала в руки Меншикова.

Наконец она подошла к зеркалу, огляделась, оправилась ещё раз и

решилась идти наверх. На лестнице она встретила с Блуменстромом.

– Ничего, ничего, – поспешно ответил доктор и, точно виноватый, проскользнул вниз, сказав, что торопится.

– Аграфенушка, – встретил князь Никита жену, – а ты мне не сказала, что Рабутин...

Аграфена Петровна не дала ему договорить. Она не ожидала этого, и всё её старательно подготовленное мнимое спокойствие исчезло в один миг.

– Не надо, не надо об этом! – заговорила она.

– Да отчего же не надо? – спросил Волконский.

Княгиня знала мужа. Она видела, что он заметил выступившее у неё волнение и что нужно сейчас объяснить причину его, иначе он может снова забеспокоиться, не волнуется ли она п о т е р ю Рабутина, как человека, который хоть сколько-нибудь был дорог ей, а настоящую причину своего волнения она боялась сказать, потому что это могло ещё хуже испугать больного.

– Потому что смерть Рабутина выводит нас из затруднений и как-то неловко говорить об этом, – догадалась она солгать, и князь Никита успокоился.

VIII ВСЁ К ЛУЧШЕМУ

Через несколько дней Никита Фёдорович, в первый раз после болезни одетый "по-здоровому", то есть в кафтан, чулки и башмаки, и потому особенно тщательно выбритый и причёсанный, шёл на половину жены, совсем "чистенький и гладенький", как говорила Аграфена Петровна.

– Ну, вот и я к тебе в гости, – сказал он, здороваясь с женою и оглядывая её кабинет, в котором давно уже не был и который казался ему теперь лучше, чем он думал. – Ну-с, с сегодняшнего дня, – продолжал он, – я опять начну всё по-прежнему. Пора! Опять возьмусь за Мишу. Он, верно, ничего не делал в это время?

– Где ж делать! – улыбнулась Аграфена Петровна. – Он почти всё время был возле тебя... Я тебе рассказывала...

– Славный, славный мальчик! – подтвердил князь Никита.

– Тише! – проговорила Аграфена Петровна, понижая голос и глазами показывая на дверь своей спальни.

– А он там? – так же тихо спросил князь Никита.

– Кажется...

– Миша, ты здесь? – крикнул Никита Фёдорович и наклонил голову набок.

Миша не сейчас ответил. Он слышал похвалу отца и, смутившись ею, конфузился теперь откликнуться.

– Миша! – снова повторил Волконский.

– Здесь, батюшка! – ответил наконец мальчик, но не пошёл, к отцу, чувствуя, что краснеет ещё от услышанных слов его.

– Что ты там делаешь? – спросил князь Никита.

– Смотрю в окно. Мы с Лаврентием сегодня пойдём на Неву рыбу ловить. Он ушёл за крючками, так я жду его.

– А-а! – произнёс Никита Фёдорович и, оставив сына на его выжидательном посту, заговорил с Аграфеной Петровной.

Он чувствовал сегодня себя совсем бодрым, здоровым и весёлым.

– Какой я сон отвратительный видела сегодня, – рассказывала она, – ужас!.. Опять, как пред твоей болезнью, всё низала жемчуг и считала деньги.

– Ох, эти деньги! – воскликнул князь Никита. – Знаешь, вот нынче, говорят, дьяволы из-под земли не выходят. Да зачем и выходить им, право! Выпустят руду золотую, а мы сами докопаемся до неё, да и понаделаем ровных кружочков, и сколько из-за них зла пойдёт!.. И дьяволам спокойнее, и нам не страшно. Напротив...

– Батюшка, – раздался в это время голос Миши из спальни, – посмотрите, к нам солдаты на двор идут.

Аграфена Петровна, переменяясь в лице, быстро взглянула в окно и вопросительно-растерянно обернулась к мужу В ворота их дома на самом деле входили ровным, торопливым шагом три ряда солдат с офицером.

Князь Никита и его жена сразу догадались, что это значит.

Аграфена Петровна вскочила со своего места и могла только произнести:

– Господи, что же это?

На ней лица не было.

– Пустяки! – вдруг пришло в голову князю Никите, и он поспешил успокоить жену. – Просто, верно, новые полки пришли и размещаются по квартирам: они к нам на постой идут – вот и всё.

– Нет, батюшка, это – Преображенские, – снова из спальни сказал Миша, видимо, гордясь знанием военного мундира.

– Милый, что же это? – с отчаянием повторила Аграфена Петровна, схватившись за руку мужа.

– Миша, ступай к себе, – вдруг вставая и выпрямляясь, сказал Волконский и обратился к жене: – Ты не была предупреждена, тебе никто не сообщил причины? У тебя есть что спрятать? – быстро, понижая до шёпота голос, проговорил он.

– Да! – как-то неопределённо произнесла она.

– Хорошо. Прячь всё, что успеешь. Я его, – князь кивнул в сторону окна, – задержу, насколько возможно. А там – не бойся: я всё приму на себя. Скажу, что ты была лишь подставным лицом, а во всём был виноват я.

В это время, в гостиной, уже слышались бесцеремонные, тяжёлые шаги офицера, стучавшего своими ботфортами.

Князь Никита твёрдыми шагами направился к двери в гостиную.

Аграфена Петровна с удивлением посмотрела ему вслед. В его тоне, походке, в каждом движении явилось вдруг столько уверенности, столько хладнокровия, что она, ожидавшая испуга, может быть, даже трепета с его стороны, – почувствовала теперь, как инстинктивно передалось ей, заглушая её испуг, это его хладнокровие, и с радостью ощущала всю силу своей любви к мужу, потому что пока там впереди что ещё будет, но теперь ей не было страшно под защитой э т о г о человека, и она кинулась к своим бумагам.

Никита Фёдорович, выйдя в гостиную, захлопнул за собою дверь и стал пред нею. Он спокойно глядел на подходившего к нему офицера, невольно припоминая, где он видел это откуда-то знакомое ему лицо –

загорелое, грубое, с большими жёсткими усами и нависшими на глаза бровями.

– По приказу я обязан, произведя обыск, поставить караул у входов сего дома, – заговорил офицер тем самым басом, которым отдавал команды солдатам. – Прошу повиноваться.

И голос его, и плечистая, сильная фигура, и весь его грозный вид производили впечатление, внушающее невольный страх. Он, видимо, привык произносить сказанные им слова и привык также, что люди, к которым он являлся со своим поручением, немедленно робели и терялись пред ним, услышав его голос.

– Скажите, пожалуйста, – начал тихим, ровным и медленным голосом Волконский, – где я вас видел?

Офицер не ожидал такого вопроса.

– Извольте повиноваться! – ещё громче произнёс он. – Позвольте пройти!

– Удивительно знакомое лицо, – повторил так же тихо Никита Фёдорович. – Так вы говорите – обыск? – вдруг будто вспомнил он. – Что ж, обыскивайте! Вот гостиная, начинайте хоть с неё.

– А вы будете хозяином этого дома? – спросил офицер, не веря, чтобы человек, которого близко касается его появление, мог говорить с ним так.

– Да, хозяин, – ответил князь Никита.

– Ну, так на такой случай извольте повиноваться! Я сам знаю, с чего начать. Где комната княгини Волконской?

– Княгиня одевается ещё, – произнёс князь Никита, по-прежнему заслоняя собою дверь.

Офицер остановился. Он чувствовал, что этот говоривший с ним человек, не оробев перед ним, не поддался ему, и он не владеет им.

– Всё равно... я обязан войти... по приказу! – сказал он уже не так громко, как вначале, и пожав плечами, как бы ссылаясь на то, что должен исполнять службу.

"Вы войдёте сейчас", – хотел сказать Никита Фёдорович и вдруг узнал

офицера: это был тот самый, который вёл солдат, когда везли Девьера.

Офицер видел, как побледнел Волконский и шатнулся в сторону, едва ухватившись за косяк; воспользовавшись этим, офицер взялся за ручку двери и вошёл в следующую комнату.

Никита Фёдорович знал, что ещё секунда – и у него в голове явится полное, ясное, со всеми подробностями сопоставление несчастной участи Девьера с тем, что происходит теперь, и тогда всё пропало, он окончательно потеряется. Поэтому он сделал над собою нечеловеческое усилие, чтобы уничтожить в себе всякое воспоминание и всю способность мысли направить к настоящему, т а к, как оно есть, безотносительно к тому, что было и что будет.

Но и в настоящем могло уже быть всё потеряно. Аграфена Петровна едва ли могла спрятать всё, что было нужно, и притом, спрятать так, чтобы нельзя было найти.

Никита Фёдорович заглянул в кабинет жены. Офицер стоял там, как бы соображая, откуда начать обыск. Наконец он подошёл к окну, отворил его и позвал двух солдат.

Аграфены Петровны не было в комнатах. Через несколько минут она пришла из входных дверей гостиной.

– Успела? – тихо, сквозь зубы спросил, на всякий случай по-немецки, не глядя на неё, князь Никита.

– Не всё! – так же ответила она. – Письма брата Алексея и венские отнесла к тебе и спрятала в стол.

Офицер с помощью позванных солдат начал хозяйничать в кабинете Аграфены Петровны. Сам он принялся за бюро, а солдатам – одному велел сдирать ковёр с пола, другому – разрисованное полотно со стен.

Аграфена Петровна, нервно сжав за спиною руки, ходила взад и вперёд по гостиной. Волконский стоял в дверях и следил за работой обыскивающих.

Они, видимо, искали чуть ли не целого чулана или потайной двери, или, по крайней мере люка, как будто спрятанные письма не могли поместиться в хитро устроенных, скрытых отделениях, так называемых

"boites aux poisons" [11] небольшого шкафчика итальянской работы, который стоял в углу комнаты.

Офицер почти не обратил внимания на этот шкафчик, небрежно высыпав на пол какие-то безделушки из его ящиков.

Никита Фёдорович видел, как он откладывал в сторону всякую попадавшуюся ему под руку бумажку. Тут попались и первые опыты Миши в письме, и счёт на количество волосяных изделий, исполненных Вартолом, и пригласительные билеты на маскарады. Следя за всем этим, князь Никита вдруг с улыбкою вспомнил, что никогда не писал жене писем, так как ни разу не расставался с нею со времени их свадьбы.

Осмотр кабинета прошёл благополучно.

– Теперь извольте провести меня в вашу комнату, – обратился офицер к Волконскому.

Сердце князя Никиты сжалось.

Аграфена Петровна остановилась среди гостиной, подняв голову и держа по-прежнему за спиною руки.

Мимо неё прошли офицер, прятавший захваченные им бумаги в сумку, и Никита Фёдорович, который вёл его к себе.

"Всё конечно!" – мелькнуло у княгини.

Офицер торопливыми шагами поднялся в комнату князя Никиты, прямо подошёл к его бюро и принялся копаться в его бумагах. Он выбрал все письма. Тут были письма Черемзина, Петра Михайловича Бестужева, ничего, впрочем, в себе не заключавшие.

Наконец офицер подошёл к столу и взялся за его ящик.

"И не могла она засунуть хоть за книги... нужно же было класть в стол!" – подумал князь Никита и закрыл глаза, чтобы не видеть того, что случится сейчас, однако не утерпел и снова открыл их.

Офицер так же спокойно и равнодушно, как брал счета и Мишины опыты пера, взял все находившиеся в столе бумаги и спрятал их свою сумку.

"Если бы он знал, что попало ему, то не был бы так равнодушен", – опять подумал князь Никита.

Перерыв всю комнату Волконского и довольно небрежно осмотрев

остальные, офицер ушёл, оставив караул у выходных дверей.

Князь Никита по уходе офицера миновал ободранный кабинет жены и вошёл к ней в спальню.

Аграфена Петровна была тут. Она сидела, опустив голову, и, казалось, ни о чём не думала.

– Письма взяты? – отрывисто спросила она.

Никита Фёдорович махнул рукою.

Они оба находились ещё под влиянием поразившего их неожиданного переполоха, и беспокойство и тревога были ещё на той высшей точке, когда они до того сильны, что человек не ощущает их. Так, говорят, у физической боли бывают минуты, что она становится неощутимой.

– Хорошо, что у тебя ничего не нашли, а всё у меня! – сказал Никита Фёдорович. – Это многому может помочь.

Аграфена Петровна не ответила.

– Я принесу тебе успокоительных капель, – проговорил князь опять и подошёл к двери.

В кабинете Аграфены Петровны стоял Лаврентий.

– Тебе чего? – спросил его Волконский, видя, что старик смутился при его появлении.

– Да, вот, князинька, я видел, как княгиня Аграфена Петровна, положила вам в стол бумаги свои, – да и догадался, что там их найти могут. Ну, я и поспешил вынуть их и к себе спрятал. А у меня не нашли бы их! – И он вынул из заднего кармана пачку писем, во всей их неприкосновенности.

Никита Фёдорович вспомнил, что в столе его лежали разные рецепты, и что офицер унёс из этого стола эти рецепты, а не письма. И вдруг ему стало так смешно, что он не мог удержать свой нервный, бессознательный хохот; трясясь от него всем телом, он вбежал снова к жене и, кинув на столик пред нею письма и едва проговорив: "Все целы!" – продолжал смеяться неудержимо, заразительно.

Аграфена Петровна несколько раз перевела глаза то на него, то на лежавшие на столе письма и вдруг, точно заразившись смехом мужа,

начала тоже смеяться истерично, болезненно.

Но вскоре этот смех перешёл в сухие, тяжёлые, икающие рыдания.

Князь Никита уложил жену в постель, дал капель, воды, забывая всякое остальное беспокойство и думая об одной лишь Аграфене Петровне.

Она оправилась и успокоилась только к вечеру.

Никита Фёдорович сидел возле неё до тех пор, пока она заснула, вернее – забылась, и лишь тогда, по неотвязчивому настоянию Розы, пришедший сменить его, ушёл к себе.

Лаврентий ждал его здесь с какими-то кушаньями, и Волконский только теперь вспомнил, что ничего ещё не ел с утра; но ему не хотелось есть, он отослал Лаврентия и остался один.

Князь Никита снова провёл бессонную ночь, в течение которой он или сидел у своего стола, опустив по привычке голову на руки, или ходил потихоньку в спальню жены, шагая через ободранные и валявшиеся на полу в кабинете ковёр и раскрашенное полотно. Аграфена Петровна несколько раз открывала глаза, и муж давал ей капли. Среди ночи он застал у двери матери Мишу, босиком, в одной рубашке, и прогнал его спать. Он становился также пред образом и читал молитвы за свою Аграфену Петровну.

"Господи, что они сделали с Девьером, и что они сделают с нею?! Господи, лишь бы её не тронули!" – мысленно обращался он к Богу и снова молился.

Наконец он к утру обессилел и прилёг на кушетку.

Едва князь закрыл глаза, как в его ушах раздались было снова барабанный бой и гудение толпы, но тяжёлый, хотя спасительный сон, как свинцом, задавил его.

Долго ли пролежал так князь Никита – он не мог дать себе отчёта. Он проснулся как будто от напёкшего его голову солнца, так она была горяча у него; но солнце на самом деле не пекло. Окна были завешаны, совсем как во время его болезни. Вероятно, Лаврентий сделал это. Князь Никита встал, вспоминая, что было вчера. Голову его начинали уже жать мягкие тиски, и он ощущал в ней ту самую боль, которая повторялась у

него обыкновенно прежде только весною.

"А, может быть, в с ё э т о был только сон и ничего этого не происходило?" – подумал Никита Фёдорович и пошёл вниз.

Но страшный хаос, царивший в кабинете Аграфены Петровны, свидетельствовал о том, что всё, что вспомнил Никита Фёдорович, произошло наяву и не было сновидением.

Аграфена Петровна лежала в постели с закинутыми за голову руками и большими, совсем сухими глазами смотрела перед собою. Роза, свернувшись в кресле, спала, свесив голову.

– Я уже давно очнулась, – проговорила Аграфена Петровна навстречу мужу, – да жаль было будить её, – и она показала на Розу. – Который теперь час?

Князь Никита пошёл узнать. Был уже второй час дня, Волконский разбудил Розу и остался с женою.

Караульные никого не выпускали из дома. Готовить пришлось из тех запасов, которые имелись в кладовых.

Аграфена Петровна велела принести кофе и заставила мужа тоже выпить с нею.

Роза, заявившая, что уже отдохнула и не хочет спать, сама принесла на подносе кофе и две чашки.

– Там Лаврентий просит господина князя, – сказала она князю Никите по-немецки.

Волконский вышел к Лаврентию.

– Нет, ты представь себе, зачем вызывал меня Лаврентий? – стал он рассказывать, вернувшись очень скоро к жене. – Эти люди просто удивительны! – И в первый раз со вчерашнего дня улыбнулся большою, светлою улыбкою. – Знаешь, фореитор твой, мальчишка, которого Акулькой прозвали, – пришёл и молит дать ему какое-нибудь поручение, клянясь, что всё исполнит и "жисти", как говорит, для господ не пожалеет, лишь бы приказали. "Для них, – говорит, – т е п е р ь время трудное!"

И князь Никита, видимо, тронутый участием Акульки, чаще заморгал

глазами.

Аграфене Петровне стало немножко совестно пред Акулькой. Она никогда не любила его и часто выговаривала ему прежде, и вдруг теперь он оказался один из первых, выказавших усердие, когда понял, что господам пришлось круто.

– Нет, эти люди!.. – повторил Волконский. – Уж я не говорю про Лаврентия с его письмами, но мальчишка, фореитор... И представь себе, говорят, сегодня у нас в доме все старики всю ночь молились.

– Миша мне говорил, что Лаврентий дал обет идти пешком в Киев, если всё пройдёт благополучно, – сказала Аграфена Петровна и улыбнулась.

– Знаешь что? – вдруг блеснув глазами и вбирая всей грудью воздух, воскликнул Никита Фёдорович. – И я с ним пойду, вот что! – решил он, как будто всё уже прошло и было по-прежнему радостно, и оставалось лишь собраться и пойти в Киев. – Да, Бог даст, всё обойдётся, – успокоительно произнёс он, – ведь никаких писем...

Но Аграфена Петровна перебила его. Она слабым голосом рассказала, что боится, как бы у Рабутина не нашлось каких-нибудь её писем.

– Пожалуй, и впрямь, – – заключила она, – нам не обойтись без любезности господина Акульки.

– Что ж, я его призову к себе, – и князь велел позвать к себе в комнату фореитора.

Акулька явился с красным от волнения лицом, приглаженный и приодетый. Он выслушал всё, что говорил ему барин, приговаривая: "Слушаю, слушаю!"

Впрочем, поручение не было сложно. Нужно было выбраться из дома и сбежать к Пашкову, Черкасову или Маврину и сказать им, что у Волконских в с ё б л а г о п о л у ч н о, но чтобы они прислали им известие в калаче. Акулька, как фореитор, знал отлично и имена всех господ, и где кто живёт.

– Если выберешься, назад и не пытайся возвращаться, – сказал ему князь Никита. – Этого не нужно.

Акулька ещё раз проговорил: "Слушаю!" – и, отвесив низкий поклон,

вскинул волосами, а затем молодцевато, желая всем существом своим показать, что на него можно положиться, ушёл исполнять поручение.

Князь Никита думал, что он проберётся как-нибудь задворками, но вскоре оказалось другое.

На дворе раздался беспокойный, громкий крик: "Держи! Держи!" Волконский подошёл к окну.

Акулька выпрыгнул из окна нижнего этажа, бежал, семеня ногами и как-то особенно вывёртывая босые пятки. Солдаты кинулись было за ним, но Акулька с такой стремительностью исчез за воротами, что, видимо, догнать его не было возможности.

Караульные не придали серьёзного значения бегству Акульки, вызвавшему в них только смех.

Но Акулька сделал своё дело.

В тот же день вечером Волконским был прислан калач с хитро засунутой внутрь запиской. Записка была от Пашкова и сообщала, что Маврин, Ганнибал, Черкасов и прочие друзья высланы из Петербурга в разные города, насчёт же самой княгини он ничего не мог узнать, хотя писал, что в бумагах Рабутина улики против неё найдено мало.

На другой день Яковлев, секретарь Меншикова, привёз Волконским приказание немедленно выехать из столицы и отправиться в подмосковную деревню, где и жить безвыездно.

Тревога окончилась благополучно.

С особенным радостным чувством уезжал из Петербурга князь Никита, увозя с собою свою Аграфену Петровну и Мишу в деревню, где ждала их новая тихая жизнь, как мечталось Никите Фёдоровичу, полная любви и счастья.

– Всё к лучшему, всё к лучшему! – повторял он, крестясь в последний раз на видную издалека высокую колокольню крепости.

Аграфена Петровна молчала, задумчиво глядя в окно кареты.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ

Постоянно весёлый, не озабоченный своим положением и вовсе не старавшийся разрешать какие-нибудь вопросы своей жизни, а потому всегда довольный ею, Черемзин представлял собою один из тех счастливых характеров, которые живут, как птицы небесные.

Теперь ему уже минуло давно за тридцать. Он попробовал было оглянуться, посмотреть на жизнь серьезнее, но сейчас же решил, что это – пустяки, которыми не стоит заниматься, а главное – мучить себя ими, и что всё обойдётся и будет так, как оно должно быть.

И в самом деле всё обошлось как нельзя лучше. Пришло известие, что богатый бездетный старик дядя Черемзина скончался, и наследство его целиком должно перейти к племяннику.

Черемзин, шутя, получил в Митаве это известие, шутя, собрался в деревню и сам трунил над собою, как это он вдруг будет хозяйничать и попадёт из "салона" на пашню.

Трудно было решить, случилось ли для Черемзина всё в жизни так, как он хотел, или наоборот, он всегда желал именно того, как слагались для него обстоятельства, но только ему казалось, что лучшего, как вот бросить Митаву и службу, теперь уехать в деревню – ничего и быть не могло.

И он, весёлый и довольный, уехал в деревню, где сейчас же с его приездом приказчик, бывший до сих пор слепым орудием прежнего барина и не смевавший пикнуть при нём, сделался почти полным хозяином. Целая ватага челяди пришла к Черемзину и, слёзно поминая доброту покойного его дядюшки, говорила, что жила у него на таком-то положении, – и Черемзин "положил" ей беспрекословно всё довольство, которое она требовала себе. Приказчик казался ему очень порядочным и честным человеком, челядь – добрыми людьми, которым в самом деле некуда было деваться, и к тому же всё это, как уверяли его, так было при дядюшке, значит, пусть будет и впредь.

Черемзин видел, что с тем богатством, которое досталось ему, у него не только всего будет вдоволь, но даже с излишком хватит на всех.

Состояние его увеличивалось, а потребности, вернее возможность куда-нибудь тратить деньги, значительно сократились. В деревне, где всё было своё и готовое, деньги почти не были нужны.

Но зато здесь было и скучнее. Сначала, в первое время, это было не так заметно. Однако вскоре однообразная жизнь стала надоедать даже Черемзину. Одиночество особенно было неприятно.

Он попробовал было отправиться к соседям. Это были давнишние деревенские жители, смотревшие на Черемзина, как на совсем нового и чуждого им человека. Привыкший к заграничной жизни, постоянно вертевшийся, хотя и при маленьком герцогском дворе, но всё-таки при дворе, он совершенно отличался от них и развитием, и манерами, и наклонностями. И он и они сейчас поняли, что вовсе не подходят друг к другу. И соседи стали дичиться его, да и он, побывав у них раза по два, отставал от их общества.

Какой-то раненый драгунский офицер, возвращавшийся на родину, заехал к Черемзину, и они два дня и две ночи подряд проиграли в кости. На третьи сутки это до того надоело Черемзину, что он, проиграв-таки порядочно офицеру, насилу мог спровадить его от себя. Офицер уехал, прокурил кнастером комнату, в которой останавливался, горячо простился с хозяином, которому уже говорил "ты", и оставил Черемзина с головною болью и самым отчаянным воспоминанием несуразно проведённого времени.

"Жениться пора, что ли? – с улыбкою подумал Черемзин и тут же разрешил своё сомнение: – Ну, какая дура за меня пойдёт? А если и пойдёт, то только дура".

Да и где было искать подходящую невесту? Правда, две-три "боярыни", как ещё величали помещиц в деревенской глуши, мечтали о том, чтобы выдать своих дочек за богатого Черемзина, но не могли не сознаться, что это были только мечты, потому что их дочкам далеко было до "заграничного немца", как окрестили Черемзина в околотке.

– Да и что в нём хорошего? – рассуждали боярыни. – Одно слово, что богат; ну, да не с богатством жить, а с человеком. А человек-то он какой?

Постов не соблюдает, хозяйства не ведёт и конскую гриву надевает.

Одним из недалёких соседей Черемзина был старый князь Пётр Кириллович Трубецкой, бывший когда-то при дворе и в школе Великого Петра, но по подозрению в участии, впрочем, вовсе не доказанном, в деле царевича Алексея, сосланный на вечное время в дальнюю свою деревню. Князь Пётр Кириллович, приехав в деревню с единственной своею дочерью, заперся там, занялся устройством дома и парка, ни к кому не поехал и держал себя со всеми, даже с начальствующими, очень гордо. Эта гордость, ни на чём, собственно говоря, не основанная, кроме, может быть, полученного годами и опытом презрения к людям, показалась окружающим вполне законною, и все как-то не только подчинились ей, но стали даже бояться князя Петра.

В именины его почему-то считали уже долгом ездить к нему на поклон; у него явились несколько завсегдатаев из мелких, – словом, он занял место выдающегося лица, которое создалось само собою. Пётр Кириллович приехал и взял на себя роль этого лица, и все точно сейчас же поверили ему, что так и быть должно, и подчинились.

Правда, Трубецкой был крут нравом и не любил спускаться тому, кто, по его мнению, был виноват пред ним.

Мужчины его боялись. Хозяйство он завёл образцовое, дом выстроил великолепный. Земли у него было много, и почти все окружные были должны ему. Впрочем, уже этого было достаточно, чтобы держать их в руках.

Дядя Черемзина был в числе немногих, не боявшихся Трубецкого. К нему князь Пётр относился с уважением и угощал его по-приятельски. С остальными он почти не церемонился. Иногда в самый разгар вечернего пира он вдруг подходил к окну, барабанил пальцами по стеклу (в его покоях везде были вставлены стёкла) и говорил со вздохом сожаления: "Ну, гости дорогие, ночь – как день, дорога – как скатерть". Это значило, что гости надоели ему, и он больше их не задерживает. И гости, поняв намёк, послушно разъезжались, а потом снова являлись по первому зову.

Приехав к себе, Черемзин наслушался рассказов про Петра Кирилловича

и не счёл нужным отправиться к нему. Таким образом, имение Трубецкого оставалось для него как бы неисследованным островком в окружавшей его жизни, и мало-помалу его стало мучить любопытство. Что за старик, что за усадьба у него, про которую рассказывали чудеса, и что за дочь, про которую говорили, что она красавица? Однако поехать так вдруг, ни с того ни с сего, к гордому старику Черемзину не хотелось.

"Отчего же, однако, не поехать? Что, право: он гораздо старше меня, пожалуй, в отцы годится, был хорош с дядей, и если чудит со "здешними", то можно всегда себя сдержать так, что со мной чудить не будет".

И Черемзин, скорый на решения, вдруг убедился, что ему не только можно поехать к Трубецкому, но это даже так и следует.

Он велел себе подать лучший наряд, привезённый из Митавы, и заложить колымагу.

"Или не ехать?" – снова мелькнуло у него, когда он посмотрел на приготовленный глазетовый блестящий кафтан, которого уже сравнительно так давно не надевал: ему как будто стало лень сменить своё будничное, просторное одеяние на этот наряд.

Тем не менее он всё-таки оделся, несмотря даже на то, что кафтан стал ему несколько узок и неловко сжимал грудь.

Он легко вскочил в колымагу и, не усевшись ещё как следует, крикнул кучеру, чтобы тот трогал. Лошади дружно подхватили, и колымага закачалась на своих ремнях.

Но, несмотря на эти ремни, отвратительная дорога то и дело давала себя чувствовать. Черемзин, ездивший большей частью верхом по деревне, как-то упустил из вида, собираясь предпринять свою поездку, ту муку, которая ожидала его в колымаге. Трясло, казалось, так, что всё внутри переворачивалось. Всякое удовольствие пропало, и Черемзин уже считал минуты, когда наконец может кончиться его пытка.

– Завтра же велю исправить у себя дорогу...о-о-ох! – охал он, хватаясь за бок.

Через час времени он въехал во владение князя Трубецкого, как

свидетельствовал каменный столб с надписью при дороге, и в этом "владении" дорога стала ещё хуже.

– Да что ж это за божеское наказание! – воскликнул наконец Черемзин и приказал кучеру: – Пошёл шагом, шагом поезжай!

Но лошади сами уже перестали идти рысью. Дорога с каждым шагом становилась всё менее проезжей. Казалось, чем ближе было к усадьбе, тем хуже.

– Ну, уж и помещик! – удивлялся Черемзин. – А ещё чудеса рассказывают про него... Хорошо, нечего сказать! Вот врут-то!.. И ехать не стоило просто... Тише ты! – снова крикнул он, хватаясь за края колымаги и чуть не вылетев из неё от нового неожиданного страшного толчка.

На дороге в этом месте был отвесный уступ по крайней мере в пол-аршина вышины. Свернуть в сторону было невозможно. Частый лес, заваленный огромными стволами деревьев с поднятыми и торчавшими в разные стороны сучками и корнями, не позволял съехать с дороги.

И вдруг после этой адской тряски, после рытвин, обрывов и огромных булыжников колымага въехала на гладкое, удивительно ровное шоссе и покатила, как по бархату. Черемзин попал в царствие небесное.

Впоследствии он узнал, что у Трубецкого нарочно вначале дорога была испорчена, чтобы проезжий мог лучше оценить последующую роскошь.

По сторонам прекрасной, вытянутой в струнку и точно прилизанной дороги, на которую въехал теперь Черемзин, открылась дивная панорама лугов с подчищенными кущами дерев. Безобразный, дикий лес остался сзади. Теперь всюду была видна заботливая рука, превратившая всю окрестность в парк. По временам между красивыми группами словно нарочно посаженных кустарников и деревьев попадались и такие, которые были подстрижены в форму огромной вазы, петуха, а четыре как-то сросшиеся дерева имели даже вид слона с хоботом и беседкой наверху в виде балдахина.

Черемзин, ощущая теперь приятный отдых ровной и скорой езды, забыл уже своё мученье и лишь любовался тем, что видел по сторонам.

Но вот он въехал в узорчатые каменные с гербом ворота, обвитые, как пеленой, ползучими растениями; округлённый высокий кустарник, бросая приятную тень, приблизился к дороге, от которой теперь уже шли другие дороги и аллеи. Вскоре по обеим сторонам потянулась подстриженная и сверху и с боков изгородь акаций, а затем она вдруг оборвалась и дала место двум фонтанам. Дорога повернула под прямым углом вправо – и глазам Черемзина открылась целая аллея из фонтанов, неумолчно и ровно подымавших тонкую струю воды, как ракета, рассыпавшуюся наверху блестящими на солнце брызгами. Аллея заканчивалась двумя стоявшими по сторонам огромными львами, метавшими воду из пасти в широкие круглые бассейны.

За этими львами расстилался широкий круг, весь покрытый цветником, точно был разостлан ковёр самого хитрого узора. Цветник огибала убитая и усыпанная ярко-красным песком дорога, обсаженная маленькими, округлёнными в шар деревцами, находившимися в одинаковом друг от друга расстоянии, и соединёнными, как гирляндами, диким виноградом.

Каменный двухэтажный дом, похожий на дворец Меншикова в Петербурге, блестел своею золочёной крышей и пестрел заполонившими его балкон и окна цветами.

У подъезда Черемзина встретили с раболепным почтением два лакея в красных ливреях (по покрою ничуть не хуже его, Черемзина, кафтана) и высадили его под руки из колымаги.

Черемзина ввели в огромные сени, где тоже бил фонтан и откуда двумя всходами шла наверх лестница, уставленная цветами. Между этими всходами был арка, сквозь которую виднелась длинная перспектива прямой, казавшейся бесконечною, аллеи, тепло освещённой солнцем, в особенности в сравнении с несколько матовыми полутонами каменных прохладных и пахнувших цветами сеней.

Здесь Черемзину пришлось ждать довольно долго.

Наконец на лестнице показался благообразный лакей, очевидно, самый старший, и, отвесив низкий поклон, не без достоинства, сказал:

– Пожалуйте-с!

Черемзин поднялся на второй этаж. Здесь прямо с лестницей большою аркою соединялся зал с широкими окнами и таким же широким входом на террасу, откуда нёсся нежный запах цветов, почти сплошь усыпавших каменные сходы.

Навстречу Черемзину шёл высокий, сухой старик в ботфортах и военном, но несколько изменённом против формы мундире самого простого сукна. Вообще вся одежда старика совершенно не соответствовала окружающей роскоши.

– Пора, пора, давно ждал, – заговорил он отчётливо и ясно и, подойдя к Черемзину, протянул ему руку, а затем подставил щёку, плохо выбритую.
– Давно, говорю, ждал... С дядей были приятелями... мог раньше приехать...

Черемзин стоял молча.

Трубецкой оглядел его с ног до головы.

– Ну, ничего, – сказал он наконец. – Лучше поздно, чем никогда... старого не помяну теперь... Ступай за мной, ты мне понравился.

И, будто несказанно осчастливив этим Черемзина, он повёл его к себе по анфиладе разукрашенных и расписанных комнат.

Так прошли они крутом всего дома, хотя "кабинет" Трубецкого был рядом с залом и в него можно было попасть гораздо короче. Но Трубецкой повёл Черемзина именно через все комнаты.

– А вот мой кабинет, – пояснил он, не оборачиваясь, когда они дошли до него.

Кабинет Трубецкого был, как и его одежда, прямою противоположностью всему, что было кругом. Эта огромная квадратная комната с простыми выбеленными стенами и некрашеною деревянною мебелью, была заставлена столами и шкафами с книгами. На столах лежали грудю свитки каких-то планов и географических карт. Тут же виднелась астролябия, большой глобус, подзорная труба. В одном из углов валялись стружки и столярный инструмент.

Трубецкой подвёл гостя к одному из столов, сдвинул большую открытую картонку с номерами "Петербургских Ведомостей" и показал рукою на

стул с высокою решётчатую спинкой.

Оказалось, что Пётр Кириллович, несмотря на давнее пребывание в деревне, нисколько не отстал от того, что делалось теперь в Петербурге и при дворе, и из его расспросов и разговора Черемзин понял, что старик вовсе не примирился со своим деревенским уединением и твёрдо надеется, что время его ещё не прошло.

Черемзин знал, что многие, в том числе, видимо, и Трубецкой, пострадавший за царевича Алексея, могут ожидать помощи от матери царевича и, следовательно, бабки царствовавшего юного императора, Евдокии Фёдоровны, рождённой Лопухиной, в инокинях Елены, сосланной Петром в Шлиссельбург, но теперь освобождённой внуком. Она жила уже в Москве, в Новодевичьем монастыре, и величалась "Государыней царицей".

По крови Евдокия Фёдоровна являлась единственным близким, кроме его сестры Натальи, лицом к императору. Хотя последний до сих пор никогда не знал своей бабки, но казалось очень вероятным, что родственное чувство заговорит в нём при первом же свидании. Это свидание близило – император должен был приехать в Москву на коронацию.

– Посмотрите, новые времена настанут, и всё пойдёт иначе, – сказал Пётр Кириллович Черемзину, невольно удивлявшемуся, каким образом этот старик до сих пор сохранил и ум, и энергию, и главное – желание всё ещё идти вперёд.

Они оставались в кабинете часа два – до тех пор, пока лакей, встретивший Черемзина на лестнице, не пришёл и не доложил, что кушать подано.

– Пойдём обедать! – пригласил Трубецкой.

И опять они, по всей анфиладе комнат, пришли в зал и спустились затем в нижний этаж, где помещалась столовая. Стол был покрыт камчатною скатертью и уставлен золотою и серебряною посудой.

Черемзин, войдя в столовую, невольно остановился. Пред ним у стола стояла молодая хозяйка, дочь Петра Кирилловича. Высокая, стройная, белая и румяная, с правильными, ровными, тёмными бровями и длинною

косою с яркою лентою, она стояла, опустив длинные ресницы и сложив красивые, открытые руки. На ней были парчовый русский сарафан с кисейными рукавами и высокая кика.

Она поклонилась Черемзину русским поклоном, и он так же ответил ей.

– Ну, садись, садись! – пригласил его старый князь, как будто не замечая, какое впечатление производит его дочь.

Начали подавать кушанья. Пётр Кириллович ел очень много, в особенности зелёной каши, которую отдельно подали ему и которую он, видимо, очень любил.

Долгое время за столом царило молчание, которого как бы умышленно не прерывал Пётр Кириллович. Черемзин считал невежливым заговорить раньше его.

Лакеи, бесшумно ступая своими мягкими башмаками, служили, точно безмолвные куклы.

За обедом, кроме Черемзина, других гостей не было. Пётр Кириллович вчера ещё вечером подходил к окну со своей обычной фразой, и гости вчера же уехали. Он был не в духе, но приезд Черемзина рассеял его.

– Ты не смотри, – вдруг заговорил он, отодвигая тарелку с кашею, – что она, – он кивнул на дочь, – в сарафане у меня... Ты скажи, разве наш наряд женский хуже этих роб разных неуклюжих и стеснительных? Лучше ведь и красивей... а?... Лучше, спрашиваю я тебя? – повторил он.

– Лучше, – едва слышно повторил Черемзин, чувствуя, что краснеет.

– Ну, вот то-то!.. В сарафане у меня – красавица, а попробуй её нарядить в заграничную робу?.. А ты говоришь, – вдруг обернулся Пётр Кириллович к Черемзину, который ничего ещё не говорил, – зачем я не ношу русского кафтана иль о п а ш е н ь, как он там называется...

– Опашень... – начал было Черемзин.

Но Трубецкой перебил его:

– Так потому, что так, – он схватился за борт мундира рукою, – удобнее, понимаешь – удобнее... и тоже лучше... Матрёшку сюда и Иваныча! – приказал он.

Черемзин не мог не заметить, что Пётр Кириллович был здесь, в

столовой, на людях, так сказать, совсем другим человеком.

В дверях появилась дура с размалёванными щеками, в шёлковой робе и буклями из пакли и огромным веером в руках, и высочайшего роста человек в русском одеянии, с длиною бородой и в высокой шапке, отчего рост его казался ещё больше.

– Вельможному боярину и всем гостям честным челом бьёт Иваныч-свет!

– тонким тенором проговорил великан, снимая шапку и низко кланяясь.

– Бонжур, гуты-морды! – пропищала дура, кривляясь и приседая.

– Хороши? – спросил Трубецкой у Черемзина.

Тот, морщась, смотрел на этих двух людей и удивлялся, как мог этот старый князь, отец сидевшей пред ним красавицы, только что у себя в кабинете выказывавший столько ума в своём разговоре, полном интереса, держать у себя шутов и тешиться ими.

– Не нравится, – с усмешкою протянул Пётр Кириллович, щурясь своими острыми глазами. – Ну, пошли вон! – обернулся он к Матрёшке и Иванычу, и те сейчас же исчезли за дверями. – А многие любят это! – серьёзно, как бы про себя, проговорил Трубецкой и замолчал.

В столовой всё снова стихло.

После обеда молодая княжна ушла сейчас же к себе, а старый князь повёл Черемзина показать парк и сад.

Черемзин сразу понял, что старику было приятно, когда хвалили его устройство, и он хвалил вполне искренне.

– Ну, а как ты думаешь, – спросил Трубецкой, показывая на тщательно расчищенное пространство, расстилавшееся по сторонам дороги, – это я только для красоты, только для глаз сгоняю сюда мужиков на работу?

Черемзин не знал, что ответить.

– Эх, ты!.. Всё под посев пойдёт. Это вот Иваныч со здешними помещиками думают, что это – одна блажь. Ну, а ты не думай так! Посмотришь, поучишься и сам у себя чистить станешь...

Наконец Черемзин, боясь надоесть своим первым посещением, собрался домой.

– Ну, д о с в и д а н ь я, слышишь, – говорю "до свиданья", – сказал ему

старый князь на прощанье. – Ты мне понравился. Я сказал...

Никогда ещё не чувствовал Черемзин себя таким одиноким, как после своей поездки в Княжеское, как называлось имение Трубецкого. Дядина усадьба, в которой он был теперь хозяином, показалась ему и скучной и бедной. Преведний его покой и всегдашнее хорошее расположение духа как рукой сняло.

"И хороша же она!" – вспоминал он про Трубецкую, и его неудержимо, страстно стало тянуть туда, назад, чтобы хоть опять мельком за обедом поглядеть на неё.

Он выждал несколько дней и снова отправился в Княжеское.

В это второе посещение он застал там много народа. Однако Пётр Кириллович, видимо, отличал его от всех гостей, был с ним особенно любезен и поил его своим, выписанным исключительно для себя, вином и кормил зелёной кашей.

Черемзину не понравилось, как держали себя гости Трубецкого по отношению к хозяину. Своим обращением с князем они гораздо больше подходили к Матрёшке и Иванычу, чем к Черемзину, который был с князем прост и искренен, и Трубецкой относился к нему иначе, чем к остальным.

Но эти гости, сначала сердившие и раздражавшие Черемзина, вскоре оказались очень полезными. Старый князь, занявшись ими, оставил Черемзина с дочерью.

После этой, поездки Черемзина в Княжеское сделались всё более и более частыми. Он ездил туда, не обращая уже внимания на испорченную дорогу и на то, насколько приличны его частые посещения.

Княжне Ирине Петровне Трубецкой шёл уже двадцать девятый год, но её красота от этого не была меньше и, казалось, не зависела от протёкших лет. Ещё в Петербурге, когда она была восемнадцатилетнею девушкой, к ней уже сваталось много женихов, но отец одинаково всем отказывал. Здесь, в деревне, хотя, собственно, никто не смел дерзнуть иметь какие-нибудь виды на дочь Петра Кирилловича Трубецкого, но всё-таки нашлись смельчаки, получившие от старого князя такой ответ, что сейчас

же стали не рады за свою смелость. На одного из таких женихов Трубецкой прямо велел спустить цепных собак.

Пётр Кириллович не мог не видеть, что именно составляет главную приманку для Черемзина в Княжеском, и как бы нарочно оставлял его с дочерью, точно желая сделать какое-то наблюдение и заключить его своим выводом. А Черемзин между тем стал уже ездить к ним по крайней мере через день.

II НЕУДАЧА

Месяца через два с половиною после появления Черемзина в Княжеском старый князь призвал дочь к себе в кабинет.

Ирина Петровна чрезвычайно не любила, когда её звали в эту комнату, и боялась там отца ещё больше, чем обыкновенно. Пётр Кириллович встречал её крайне недружелюбно у себя в кабинете, где всегда происходили у него с нею "объяснения". Она вошла и стала у окна, в ожидании, когда заговорит отец.

Он ходил по комнате, как будто не замечая дочери, мурлыкал вполголоса какую-то солдатскую песню и, проходя, смахивал со столов и вещей, хотя на них не было ни пылинки. Ирина Петровна терпеливо ждала.

– Ты что ж это, п е р е м о л ч а т ь меня хочешь, а? – заговорил наконец Пётр Кириллович.

– Я жду, пока вам угодно будет, батюшка, заговорить со мною, – ответила она, покачивая головою.

– А-а, ну жди! – спокойно проговорил Трубецкой и снова заходил. Плечо его дёргалось всё сильнее и сильнее. – Как ты думаешь, сколько тебе лет, а? – спросил он опять, впрочем, довольно мягко.

– Двадцать девять, – тихо ответила княжна, испуганно, робко, исподлобья взглядывая на отца.

– Да, двадцать девять, – повторил он – Что ж ты думаешь, отчего до сих пор я не выдал тебя замуж, а?.. отчего оставил вековушей?

Ирина Петровна тяжело, глубоко вздохнула. Она знала, что отец будет

мучить её именно этим разговором.

– Ты не вздыхай... это – пустяки. По-вашему, это – блажь... Были у вас женихи, были, и не отдал я тебя, потому что ни один не стоит тебя. Вот и всё! Теперь, – продолжал князь, слегка запинаясь, – новый жених у вас есть: Черемзин, помещик, не сегодня-завтра сделает вам пропозицию.

Он широко улыбнулся и отвесил низкий поклон дочери. При имени Черемзина княжна Ирина вся вспыхнула.

– Разве это может быть? – произнесла она, делая невероятное усилие, чтобы сдержать свои слёзы.

Ей хотелось плакать, но она знала, что отец терпеть не мог слёз и приходил при виде их просто в бешенство.

– Не "может" быть, а будет, и будет на днях, – поправил князь. – Я это говорю. Ты увидишь... Так я желал бы спросить вас, как вы к этому отнесётесь.

– Как будет вам угодно, – ответила княжна Ирина.

– Конечно, всё будет так, как мне угодно, – крикнул Пётр Кириллович. Плечо его в это время так и дёргалось. – Но я спрашиваю вас, ваше мнение!.. Вы бы согласились пойти за него замуж? Он – человек богатый, образованный, рассудительный, прекрасный человек и годами не мальчишка.

С каждым словом отца лицо Ирины Петровны разгоралось всё сильнее и сильнее. Ей страстно хотелось сказать отцу, что всё, что он говорит, правда, и что она согласна.

– Так ты согласна? – крикнул Пётр Кириллович.

Она не двинулась, бровью не повела, но всё её существо самым её молчанием и смущением говорило, что она была бы рада этому.

– Всё это я знал. Всё это так, – заговорил Трубецкой, заходя снова по комнате, как будто очень довольный, что его ожидания оправдались и что дочь не ответила отказом.

– Да он не сделает, – вдруг, подняв голову, сказала княжна.

Пётр Кириллович остановился перед ней.

– Как не сделает, когда я говорю, что он сделает на днях пропозицию тебе? Довольна! Знаю. Ну, а потом что будет? История известная – надоедите друг другу и в этом разве найдёте счастье... а?

Он ходил по комнате всё быстрее и быстрее, дёргал плечом, и голос его становился твёрже.

– Я вот что вам скажу, – говорил он. – Пусть черемзинский помещик и богат, и хорош, – он мне сам нравится больше всех ваших женихов, – но только я тебя за него не отдам... Не отдам! – крикнул он так, будто у него отнимали что-нибудь. – Вот и всё. Знаю, что вы думаете теперь обо мне. Знаю... Вы думаете: я – варвар, вот держу вас тут, и думаете, когда я развяжу вас.

– Что вы, батюшка! – начала было княжна Ирина, и слёзы-таки показались у ней.

– А умру я, тоже не смейте выходить замуж! – продолжал отец. – Вековушей лучше, вековушей лучше!.. Слышите!.. Ну, а теперь ступай! – показал он на дверь рукою. – Ступа-ай! – снова повторил он, видя, что княжна хочет возразить что-то.

И она вышла из кабинета.

В тот же день князь Пётр Кириллович встретил Черемзина как ни в чём не бывало, очень ласково и любезно, и он по-прежнему стал приезжать через день.

Конечно, Ирина Петровна ни слова не сказала ему о своём объяснении с отцом, но старый князь не ошибся. Вскоре доложили ему, что Черемзин просит принять его, желая поговорить об очень важном деле.

Пётр Кириллович был в это время на пчельнике.

– Что ж, если дело важное, приведите его сюда, пусть придёт! – сказал он.

Черемзин прошёл через сад, как-то смущённо и робко оправляясь, и, подойдя ко входу на пчельник, надел поданную ему, по приказанию Трубецкого, сетку и рукавицы.

Это была особенная любезность со стороны князя Петра Кирилловича. Обыкновенно он призывал на пчельник того, кем был недоволен, и

заставлял его без сетки разговаривать. В это время пчёлы облепляли несчастного, который, обезображенный их жалами, как сумасшедший, вылетал с пчельника. Почти никто не мог вынести эту пытку, и крестьяне больше всего боялись этого наказания.

Когда Черемзин вошёл в пчельник, Трубецкой, присев к улью, копался там, видимо, занятый всецело своею работой.

– Ты, говорят, по делу ко мне? – спросил он, не оборачиваясь. – И важному... а? Ну, говори!

Он усмехнулся.

"Никому в жизни, наверно, не приходилось объясняться в таком положении", – подумал Черемзин, глядя сквозь надетую на лицо душную сетку на непривычную ему обстановку пчельника, на летавших кругом, по прямой линии, как пули, к ульям рабочих пчёл и на широкую спину Петра Кирилловича, возившегося пред ним в улье. Черемзин не знал, говорить ли ему теперь, или отложить объяснение до другого, более удобного, часа.

– Я жду... слушаю, – сказал опять Трубецкой.

– Я хотел сказать вам, князь Пётр Кириллович, – начал, путаясь, Черемзин. – В продолжение нашего с вами знакомства вы, вероятно, уже могли узнать меня и разглядеть. Впрочем, я не сейчас прошу ответа...

Трубецкой, присев и не оборачиваясь, замахал назад Черемзину рукою, чтобы тот замолчал, потому что его разговор, видимо, мешал улью. Черемзин замолчал. Наконец Пётр Кириллович встал и повёл его с пчельника.

– Ты говоришь, что желаешь жениться на моей дочери? – сказал он, когда они вышли оттуда. – Так я понял твои слова?

Черемзин почувствовал, что с его плеч спала некоторая тяжесть. Трубецкой освобождал его от длинной и неловкой вступительной речи, которую он приготовил, и прямо приступил к делу.

– Да, – произнёс он, повеселев, – если вы будете согласны и княжна Ирина Петровна...

– Я тебе вот что скажу, – начал Трубецкой, замедляя шаг, – я тебя

узнал, ты мне понравился... правда. И именно потому, что ты мне нравишься, и говорю тебе: не женись, никогда не женись... Первый год – дай Бог ещё, чтобы это год был! – у вас всё пойдёт отлично, ну, а там придётся расплачиваться за это счастье, которое промелькнёт очень скоро. Я вот что скажу тебе, – повысил голос Пётр Кириллович. – Моя жена, покойная княгиня, была лучшая в мире женщина, лучшая в мире! – ты понимаешь это? Ирина не может и сравниться с нею... да что Ирина – никто не может сравниться!.. Ну и, я тебе говорю после этого: не женись, не женись! – крикнул Трубецкой, и голос его оборвался. – Любишь ты её, хочешь её счастья – не женись. Пусть в девках остаётся. Лучше это. А сам уезжай. У тебя эта блажь пройдёт, и останется навек самое лучшее воспоминание о ней... верь мне... верь...

– Но князь, – заговорил в свою очередь Черемзин, – я уже в таких летах, что могу рассудить здраво, и это с моей стороны вовсе не увлечение. Я много думал пред тем, как прийти к вам.

– Ты много думал! – перебил его Трубецкой. – Много думал!.. А я больше тебя, может быть, думал об этом. – Он вдруг остановился и, дёргая плечом и неестественно моргая одним глазом, продолжал быстро, раздражённо: – Словом, не бывать этому... Что ж ты хочешь ни с того, ни с сего ворваться ко мне, а? отнять у меня дочь, а? оставить меня одного, а? сделать и её, и себя несчастными. И меня, и меня, да?.. Да вот что: принесёшь ты мне в этой сетке воды ковш? – снова крикнул он, сжимая в своей руке сетку, которая была на пчельнике, и трясая ею. – Принесёшь? возможно это? Ну, так же невозможно, чтобы я отдал тебе Ирину... Доволен теперь? что? доволен? Так идите же, милостивый государь мой, идите!..

Черемзин развёл руками и грустно опустил голову. Ему действительно оставалось только уйти. Он медленно пошёл вперёд по аллее, оставляя этого взбалмошного, строгого чудака, как он думал теперь про Трубецкого.

Князь Пётр Кириллович сделал несколько шагов к скамейке, находившейся тут же, у края дороги, опустился на неё и закрыл лицо

рукою.

Что он сделал сейчас и имел ли право сделать это?

Он вспомнил "своё время", свою жизнь, молодую, полную силы, и стало жаль этого удалявшегося теперь, почти выгнанного человека, к которому он чувствовал невольную симпатию с первого же взгляда на него. Но слово уже вырвалось, было сказано, и для Петра Кирилловича его нельзя было уже вернуть. Он точно слышал ещё звук своего голоса, кричавшего о том, что нельзя принести воду в сетке.

Он отнял руку от лица и, проведя ею по голове, как бы желая отряхнуть свои мысли, хотел встать, но, взглянув пред собою, увидел Черемзина, приближающегося по аллее. Тот шёл, сконфуженно улыбаясь, и в руках нёс что-то.

"Что это?" – подумал Пётр Кириллович.

Черемзин подошёл и подал ему, всё так же улыбаясь, сетку с куском льда.

– Что это? – произнёс вслух Трубецкой.

– Вы сказали, – что "то" так же невозможно, как принести вам воды в этой сетке. Ну, вот я вам принёс её, только мёрзлую, потому что взял поближе с ледника; до колодца дальше было идти.

Пётр Кириллович остановился, как бы первый раз в жизни не зная, что ответить.

– Иль ты меня перехитрил? – сказал он наконец, вырвав из рук Черемзина сетку со льдом, и отбросил её далеко в сторону. – Садись здесь!

Черемзин сел.

– Остроумно... остроумно! – бормотал старый князь, уже не обращая на него внимания. – Перехитрил... меня перехитрил...

Он усмехался и фыркнул носом.

Выход ему был дан Черемзиным. Оставалось, пожалуй, теперь дать только своё согласие, и был один миг, что Пётр Кириллович хотел встать и обнять Черемзина, как будущего мужа своей дочери. Но сердце его снова сжалось. Как! Это значило расстаться с нею, расстаться навсегда,

отдав её этому совсем чужому человеку, а самому быть одному и дожить свой век, как никому не нужная рухлядь, как исписанный, никуда не годный лист бумаги, потерявший давно весь свой интерес! Это было ужасно.

"Нет, нет, не нужно... Они будут несчастны", – решил опять Пётр Кириллович и, обратившись к Черемзину, резко спросил его.

– Сколько тебе лет?

Черемзин ответил не сразу.

– Когда ты родился? – переспросил его Трубецкой.

– Я родился в октябре... в год, когда был второй поход Голицына на Крым. Мой отец умер в этом походе.

Пётр Кириллович поморщился.

– Это значит, в тысяча шестьсот восемьдесят девятом году, так по-нашему? – сказал он и концом своей большой палки с серебряным чеканным набалдашником написал на песке дорожки "1689" – А теперь у нас какой год? – продолжал он спрашивать.

– Тысяча семьсот двадцать седьмой, – ответил Черемзин.

Трубецкой надписал над первой цифрой "1727" и сделал вычитание.

– Видишь, – сказал он, – тридцать восемь... Тебе тридцать восемь лет... А дочь моя родилась в июле тысяча шестьсот девяносто восьмого года – значит, ей теперь двадцать девять. Ты старше её на девять лет – ну, а я всегда говорил, – заключил с удовольствием Пётр Кириллович, – что муж моей дочери должен быть старше её на десять лет, на десять лет, понимаешь?.. а ты годами не вышел... Сделайся старше на один год, сделайся... Тогда увидим. – Он встал и отвесил Черемзину поклон. – Ну, так вот! Ты мне нравишься, это – не отказ. Обижаться тебе тут нечего. Сатисфакция полная [12] . А только поди сделайся на год старше... попробуй... попробуй...

Черемзин отлично сознавал, что можно было принести льду в сетке, но сделать то, что требовал теперь Трубецкой, было невыносимо. Он вскочил, ничего не сказав, прошёл по аллее, слыша за собою старческий, донельзя противный ему теперь смех Петра Кирилловича, и, взбешённый,

уехал, как ему казалось, навсегда из Княжеского.

Вернувшись домой, Черемзин увидел, что для него всё теперь кончено. Упрямый старик ни за что не отступит от с в о е г о и, придравшись, как это было видно, к первому пришедшему ему в голову обстоятельству, не согласится изменить своё решение, потому что не хочет отпускать от себя дочь. Оставаться теперь здесь, у себя в именье, так близко от Трубецких, к которым он не мог уже показаться, было и мучительно и тоскливо.

Несколько дней Черемзин ходил у. себя по комнатам, затем занялся усиленно верховой ездой, так что даже загнал лошадь, наконец, велел укладываться. Он собрался опять в Митаву или в Петербург на службу, куда-нибудь. В деревне оставаться он не мог больше и уехал, решив по дороге завернуть к Волконским, которые – он знал – были у себя в деревне, недалеко от Москвы.

Старый князь Пётр Кириллович, узнав об отъезде Черемзина, сделался на неделю не в духе, не принимал гостей и не допускал к себе дур и шутих. Но с дочерью он был особенно ласков и внимателен и хвалил её за то, что о н а н е п р о м е н я л а отца на "черемзинского помещика", как будто во всём этом была её воля.

Бедная Ирина Петровна старалась сдерживать себя при отце, но, проводя бессонные ночи, часто и много плакала, горько жалуясь на то, что ей выпала такая судьба.

У Волконских Черемзина встретили как старого приятеля и очень обрадовались ему. Он приехал к ним совершенно неожиданно и своим появлением внёс невольные воспоминания Митавы, минувшего времени и лучших беззаботных лет.

В деревне у себя Волконские устроились пока в тесных, низеньких покоях хором старинной постройки. Князь Никита по приезде первым делом по настоянию жены стал рубить для неё новый дом с просторными горницами. Оглядевшись, он исполнил свой обет – ходил с Лаврентием пешком в Киев.

Аграфене Петровне всё не нравилось в деревне: жара, мухи, низкие потолки, маленькие окна и в особенности грубость мужиков. Всё это

ежедневно, ежеминутно раздражало её. Она почти целый день была не в духе, и когда князь Никита, вернувшись с поля или с реки, подходил к ней и нагибался и взглядом требовал от неё улыбки, она не улыбалась ему, и Волконский, тяжело вздохнув, отходил от жены. Разница в склонностях и стремлениях в деревне стала сильнее заметна. В Митаве, в Петербурге Никите Фёдоровичу легко было жить так, как ему хотелось, то есть подальше от всех, но Аграфене Петровне вовсе не было возможно жить в деревне так, как хотелось ей, и Волконский понял, что тот покой, который думал он найти в деревне, тот внутренний душевный покой, к которому он постоянно стремился, был ещё менее возможен здесь.

С приходом Черемзина не только сам Никита Фёдорович и Аграфена Петровна, но и Миша, и Лаврентий, и даже Роза повеселели. Гостю отвели лучшую комнату, за ним ухаживали, были рады ему и внимательны, и он, улыбаясь, и сам тоже повеселев, с удовольствием принимал эту радость и ласку своих друзей.

– Ну, рассказывай, как же ты, как княгиня, Миша... и как он вырос! – воскликнул Черемзин в первый же вечер своего приезда, обращаясь к Никите Фёдоровичу, когда они остались одни.

– Да вот живём – и з г н а н н и к и, – усмехнулся князь Никита.

– А ты и рад?

– Конечно, рад, с одной стороны... но боюсь, как бы хуже не было. Аграфена Петровна опять что-то затевает.

– Неужели опять? – воскликнул Черемзин.

Никита Фёдорович махнул рукою и рассмеялся. Ему теперь, при свидании с приятелем, всё казалось весело и хорошо.

– Да что ж она может сделать здесь, в деревне, в изгнании, как ты говоришь? – переспросил тот.

– Как, что? – ответил князь Никита, наморщась и становясь серьёзным. – На грех тут от нас недалеко именье двоюродного её, Талызина Фёдора, от Москвы он в тридцати верстах. Из Москвы туда приезжают, и моя ездит... И сделать ничего не могу. Уж коли петербургского случая мало было...

Черемзин слушал друга, перебивая расспросами и вставляя замечания. Ему тоже хотелось говорить и тоже рассказать про себя.

– А что у нас в Митаве делалось без вас! – начал он, когда Волконский обо всём рассказал. – Представь себе, когда – помнишь – Пётр Михайлович ездил в Петербург, тогда вдруг выдвинулся при дворе герцогини Бирен, сын простого конюха.

– Я его мельком помню, – перебил Волконский, – как же... в Митаве... Теперь он, говорят, уже называет себя не Биреном, а Бироном, и производит свой род от французских графов.

Черемзин снова рассмеялся.

– Да и сам Пётр Михайлович покровительствовал ему.

– Да ты о себе-то расскажи! – опять перебил Никита Фёдорович. – Ну, как жил в деревне, как там устроился?

– Да никак не устроился, – вдруг упавшим голосом ответил Черемзин. – Что поделаешь! Я навсегда уехал теперь из деревни.

– Опять на службу, опять в Митаву? – почти с ужасом спросил Волконский.

– Да, опять.

И Черемзин в свою очередь рассказал всё о себе и о своей неудаче.

Никита Фёдорович серьёзно, внимательно следил за его рассказом.

– Станный старик! – сказал он, когда Черемзин кончил. – Я тебе одно только могу сказать – будь уверен: если должно, чтобы твоя княжна Ирина стала твоею женою, то ничто – ни отец, ни какая другая сила не остановят этого.

– Да, хорошо тебе говорить так, а я не вижу возможности... Нет, это не сбудется...

Волконский встал со своего места и заходил по комнате.

– Помнишь Митаву? – сказал он, обращаясь к Черемзину. – Помнишь, как ты тогда утешал меня и помог мне – да, помог, конечно, хотя и смеялся и балагурил?

– Что ж, тогда мы моложе были, – вставил Черемзин, как будто оправдываясь.

– И могли ли мы думать тогда, – продолжал князь Никита, – что вот придёт время, когда мы поменяемся местами и мне придётся также утешать тебя?

– Жаль одно, что ты мне помочь не можешь, – грустно возразил Черемзин.

Никита Фёдорович несколько раз прошёлся молча.

– Ну, этого ты не говори! – не вдруг продолжал он, видимо, соображая что-то. – Нет, не говори – может быть, и помогу.

Черемзин быстро поднял на него взор, как бы сомневаясь, не ослышался ли он, или в своём ли уме Волконский, желавший помочь его сватовству на Трубецкой, которая была теперь далеко от них, в полной власти и полном повиновении у своего строптивного и упрямого отца.

– Да, и помогу, – подтвердил князь Никита.

– Но как же, голубчик? Ведь это невозможно, – недоверчиво произнёс Черемзин.

Но он стал настаивать на том, чтобы князь Никита объяснил, как это он собирается помочь ему. Он думал просто, что Волконский хочет утешить его, поддержать и поэтому говорит так себе, чтобы дать ему хоть тень надежды. Но Черемзин знал, что надежды этой не может быть.

На другой день Волконский не возобновлял этого разговора, и его гость ещё больше убедился в справедливости своего предположения.

Черемзин провёл у Волконских недели две и наконец собрался уезжать.

Накануне его отъезда Никита Фёдорович пришёл к нему опять вечером и спросил:

– Так ты положительно хочешь уже уезжать?

– Да, голубчик, пора, – озабоченно ответил Черемзин.

Он опять находился в таком состоянии, что не мог долго засиживаться на одном месте, и, как ни хорошо ему было у Волконских, но всё-таки ему многого доставало. Он тосковал по княжне Ирине Петровне, и её-то и доставало ему, а потому он и не мог сидеть на одном месте. В переездах, в дороге ему всё-таки было легче.

– Ну, а если я тебе скажу: поезжай назад в деревню? – произнёс

Волконский.

Черемзин нахмурил брови и недовольно взглянул на друга.

– Полно тебе, князь Никита! – сказал он, хмурясь.

– А разве ты забыл, что я обещал помочь тебе? – перебил его Никита Фёдорович и, улыбаясь, весело взглянул на Черемзина.

Тот в свою очередь недоумевающе, вопросительно посмотрел на него и спросил:

– Так ты не шутишь? это серьёзно?

– Нет, не шучу. Дай только мне слово, что исполнишь то, что я потребую от тебя.

– Хорошо, даю слово, – сказал Черемзин, несколько подумав.

– Ну, так вот, возьми это письмо, – и Никита Фёдорович достал из кармана уже готовое и запечатанное письмо, – и вези его, не читая, к себе в деревню, а когда приедешь – прочти и объяснись со стариком Трубецким.

– И ты думаешь, что из этого что-нибудь выйдет?

– Я даю тебе слово, что выйдет, если только, повторяю, суждено Ирине Петровне стать твоею женой.

Черемзин подчинился другу и, изменив свой маршрут, отправился назад, к себе в деревню.

III НОВЫЙ ГОД

Черемзин уехал и как будто увёз с собою дурную погоду, стоявшую всё время его пребывания у Волконских. После дождей и мокроты вдруг завернула сухая погода бабьего лета. Солнце выглянуло на совсем синем небе и к полудню пекло, как в июле. Закаты были, конечно, свежее июльских, но тем не менее приятны и не холодны.

В один из таких, несмотря на сентябрь месяц, тихих и даже тёплых вечеров Никита Фёдорович сидел с Лаврентием на вдавшемся в реку пригорке за своим любимым занятием – ужением рыбы.

Медленная, прозрачная летом и теперь к осени чуть потемневшая, словно сгустившаяся, река беззвучно плыла между своих скошенных и

снова уже обросших травой зелёных берегов, кое-где изредка оттенённых красновато-жёлтою глиною обрывов.

"Все реки, – вспомнил Никита Фёдорович, – текут в море, но море не переполняется; к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь".

В последнее время Волконский мало-помалу оставил все свои книги и остановился на одной только Библии, открыв в ней вдруг такую силу и мощь, пред которыми все остальные сочинения казались ему ничтожными и жалкими. В особенности его поразил Екклесиаст. Здесь, на этих нескольких страницах, как казалось ему, сосредоточивалась в с я мудрость человеческая, было всё то, о чём писали и над чем думали, как над новым, люди впоследствии.

"Бывает нечто, – говорил Екклесиаст, – о чём говорят "Смотри, вот это новое", но э т о было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Что было то и теперь есть, и что будет, то уже было; и Бог воззовет прошедшее"

"И так всё, – думал князь Никита, – всё – суета сует и томление духа!"
– Господи, хорошо-то как! – вздохнул Лаврентий.

С тех пор, как барин и старый слуга сходили вместе в Киев, между ними образовались совсем новые отношения, естественные и простые. Правда, в доме, а тем более при людях Лаврентий оставался прежним Лаврентием и никогда не только не садился пред князем, но даже упорно выдерживал свойственный крепостному человеку тон; но когда они были совсем одни, окружённые лесом, привольем реки или простором поля, Лаврентий преображался и становился другим человеком с князем.

– Ты что сказал? – спросил князь Никита.

– Я говорю, хорошо-то как! – и Лаврентий показал рукою на полосу реки, луга и синюю даль. – Истинно хорошо, а ведь кажется, ничего нет, ни домов с колоннами, ни фонтанов, ни статуев, – пояснил он. – В Питербурхе-то они казались как будто и ничего, а всё-таки всё это ни к чему...

"Кто может выпрямить то, что Он сделал кривым?" – пришло на ум Никите Фёдоровичу, и жалкие потуги людей создать что-то, что, по их мнению, было бы красивее существовавшего в природе, показались ему удивительно смешными и неуместными.

– Суета, и это – суета, – проговорил он вслух.

Лаврентий понял слова князя именно так, как они были сказаны, и тоже улыбнулся.

"Конечно, суета!" – сказала эта улыбка.

Князь Никита уже давно заметил, что не один Лаврентий умел и мог понимать его, но что тот народ, из которого вышел Лаврентий, тот народ, который говорил с какою-то презрительною грустью: "все помирать будем", и тогда, когда земное горе надвигалось на него, и тогда, когда, соблазняя его, ему предлагали земные блага и благополучия, – тот народ также мог понимать и понимал именно то, что князь Никита считал единственно важным; мало того, он сознавал, что и сам потому так легко дошёл до своего "важного", что принадлежал к тому народу, из которого вышел Лаврентий и который думал одинаково с ним.

Эти простые слова "помирать будем", казавшиеся столько раз Никите Фёдоровичу трогательными, ясно, верно были объяснены несколько веков тому назад Екклезиастом: "Всё идёт в одно место; всё произошло из праха, и всё возвратится в прах!", "Конец дела лучше начала его, и день смерти – дня рождения", "Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над днём смерти и нет избавления в этой борьбе, и не спасёт нечестие нечестивого", "Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит каким пришёл, и ничего не возьмёт от труда своего, что мог бы он понести от труда своего".

С тех пор как князь Никита сошёлся в деревне ближе с народом, он вдруг увидел, что до сих пор в душе жил с ним одинаковою жизнью, и с радостью увидел, что то, чего он достиг, как ему казалось, сам, собственною работою своего духа, подтверждалось рассуждениями Екклезиаста и жизнью народа.

В Петербурге, в разговорах, Веселовский, горячий поклонник и

приверженец заграничного, часто ссылался на закоснелость мужика, на его упорное нежелание с охотою, с удовольствием наброситься на те улучшения и блага, которые переносились к нам из чужих краёв, называл это ленью и бранил мужика совершенно так же, как бранила Аграфена Петровна самого Никиту Фёдоровича, когда он не хотел заниматься тем, чего требовала она от него вначале и в чём видела с в о ё настоящее дело.

Но Волконский не считал ленью того, что раздражало Веселовского. Мужик покорно принимал то, чему его научали, но, видимо, в глубине души своей считал это суетою. И кто тут был больше прав?

Князь Никита с Лаврентием думали, что они, а Веселовский не сомневался, что правда была на его стороне. Но Екклесиаст говорит, что и это – суета, ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которые он проводит, как тень? И кто скажет человеку, что будет после него под солнцем?

Рыба клевала мало: князь ли Никита был невнимателен, или действительно клёв прекратился, но только они поймали немного.

Лаврентий сложил удочки, взял ведро с рыбою, и они пошли домой.

Никита Фёдорович казался задумчивым. Он прошёл прямо к жене. Она встретила его взволнованная, радостная, встрепенувшаяся.

– Ну что, ну что? – заговорила она, держа в руках какое-то, очевидно, только что полученное письмо. – Ну, что?.. чья правда? Я говорила, я это знала... Меншиков впал в немилость. Он выслан из Петербурга [13] : дни его могущества кончены. Да, по указу императора, Меншиков сослан в Раненбург. Вот видишь: ордена от него отобраны, обручённую невесту императора, дочь Меншикова, не будут поминать на ектениях в церкви. Говорят, у Меншикова нашли письма к прусскому двору, где он просил дать ему десять миллионов и обещал возвратить вдвое, когда получит русский престол... А? Каково?! С завещанием императрицы тоже целая история: говорят – оно подложно, и всему виною Меншиков. Но этого мало; есть вероятность, что его не оставят в Раненбурге, а зашлют и подальше; словом, – заключила Аграфена Петровна, – прошла и погибла

суетная слава прегордого Голиафа, которого Бог сильною десницею сокрушил. "И все этому очень рады, и в Петербурге всё благополучно, и таких страхов теперь ни от кого нет, как было при князе Меншикове!" – прочла она из письма и победоносно поглядела на мужа.

Глаза её горели, щёки покрылись румянцем, грудь высоко подымалась, она готова была и плакать и смеяться, не зная, чем выразить свою радость, и требовала и взглядом, и тоном своего голоса, и всем существом своим сочувствия от князя Никиты этой своей радости, сочувствия и одобрения.

Но он грустно поглядел на неё и даже не улыбнулся.

– Суета, Аграфенушка, всё – суета! – проговорил он и ушёл к себе.

С падением Меншикова надежды Аграфены Петровны удвоились, и теперь дорога казалась ей открытою.

С первых же дней своего отъезда в деревню она снова завела деловую переписку с братьями и отцом, переписывалась с Ганнибалом, сосланным в Томск, и с Мавриным, бывшем в ссылке в Тобольске, посещала Новодевичий монастырь в Москве и ездила на свидания с нужными ей людьми к своему двоюродному брату Талызину. Ей казалось, что с каждым днём близится её освобождение и что, наверное, будет выхлопотан указ, разрешающий вернуться снова в Петербург как ей, так и её друзьям.

Между тем Алексей Бестужев, не знавший во всех подробностях того, что происходило в это время в Петербурге, писал сестре из Копенгагена:

"Конечно б, по желанию всех вас учинилось, ежели б смерть графа Рабутина в том не воспрепятствовала. Но ежели б его императорское величество да не свободил империю свою от ига варварского, то б мне трудно было столь скоро всем вам вспомочь; ныне же уповаю, что вы с друзьями нашими и без посторонней помощи, по отлучении известного варвара, всякой сами себе вспомочь можете".

Варвар, то есть Меншиков, уже был сослан в Берёзов, и соображение Алексея Петровича заняло было Аграфену Петровну. Но Пашков из Петербурга советовал быть осторожней.

"Отважно ни в какое вступать не извольте, пока время покажет спокойное, – писал он. – Может, Бог хоть одного не оставит компании нашей. Сколько мерзкой клеотуре ни искать себе защищения по своим худым делам, только им себя не можно никак закрыть".

Под "мерзкою клеотурою" подразумевались Остерман и его приятель и помощник Левенвольд. Остерман, почти главный виновник ссылки Меншикова, получил большую силу и значение при молодом императоре. Весьма естественно, он не мог желать возвращения из ссылки таких, ещё недавно приближённых к Петру Алексеевичу людей, как Маврин и его друзья. Но Остерман казался не опасен, или, по крайней мере, не так страшен, как Меншиков. Волконская видела это и потому, удвоив осторожность, стала больше прежнего "работать", как она говорила.

В конце 1728 года двор стал собираться в Москву на коронацию. Решительное время близилось.

Никита Фёдорович делался с каждым днём молчаливее и угрюмее. Он как будто покорился судьбе и махнул на всё рукою, не препятствовал жене, но и не помогал ей. Ближайшим её помощником теперь был её двоюродный брат Талызин, живший вблизи в своей деревне Дедове, посвящённый Аграфеною Петровной во все её планы и исполнявший для "сестрицы", как он называл Волконскую, всё что угодно.

В первых числах февраля состоялся торжественный въезд императора в Москву. Пётр Алексеевич виделся со своей бабкой, и при встрече присутствовали великие княжны Наталия Алексеевна и Елизавета Петровна.

Старуха царица Евдокия при виде внука стала плакать, обнимать его, читать ему наставления и выговаривать за его свободную жизнь и за дружбу с Долгоруковыми, из которых один, Иван, был самым близким человеком к императору и постоянным участником его веселья. Свидание вышло сухим, и присутствующие видели, что Пётр Алексеевич уехал от бабки, по-видимому, не скоро собираясь вернуться к ней. К себе он не позвал её.

Для всех стало ясно, что государыня-бабка не будет иметь н и к а к о г о

влияния, и те, что рассчитывали на неё, ошиблись в своих расчётах.

Для Волконской и её друзей это было большою неприятностью.

Но как пострадавшие от Меншикова, они всё-таки надеялись, что государь, по гневу своему на светлейшего, легко может вспомнить про них. И действительно, верные люди уже сообщили, что Пётр II несколько раз со времени приезда в Москву опять заговаривал о них. Наталья Алексеевна спрашивала про Аграфену Петровну. Надежда снова загоралась.

Так в постоянной тревоге прошли весь февраль и март. То счастье казалось близко, и цель чуть не была достигнута, то опять несколько недель полной неизвестности, сомнений и нерешительного положения. Остерман, видимо, внимательно следил за своим воспитанником.

Наконец к маю месяцу надежды опять поднялись. Теперь уже по всей Москве говорили, что император прямо желал вернуть прежнего своего наставника Маврина и его друзей.

IV ЧЕМ КОНЧИТСЯ

Это было седьмое мая – день, памятный для князя Никиты на всю жизнь.

Он встал в этот день, как обыкновенно, рано и отправился на постройку, к которой только что приступил после зимнего перерыва.

Новый дом строился в порядочном от старого расстоянии, на красивом месте, на самом берегу реки, у рощи, в которой предполагалось разбить парк и сад. Этот дом, большой, одноэтажный, на каменном фундаменте, был вчерне почти готов ещё в прошлом году и оставлен на зиму с заколоченными отверстиями для окон. Крыша была уже готова; оставалось вставить рамы, настлать полы и сделать тёсовую обшивку.

Никита Фёдорович, с отвесом и мерою в руках, ходил по хрустевшим под его ногами, чёрным от времени, прошлогодним щепкам и стружкам и распоряжался уроками плотникам на сегодняшний день. В другом конце Лаврентий считал только что привезённые дубовые доски.

– А где же Филипка меньшей? – спросил Волконский, оглядываясь крутом и ища глазами Филипку, которого он знал как хорошего

работника.

– Филипка-то? – переспросил стоявший рядом мужик, дожидавшийся урока, и потупился.

– Ну да, его кликнуть надо!

– Филипка-а! – протяжно, лениво закричал кто-то, и роща отозвалась эхом на этот крик.

Князь Никита кончил уроки, но Филипка не являлся.

– Филипку звали? – спросил Лаврентий, подходя к Никите Фёдоровичу. – Эх, нехорошо! Ведь убёг, пожалуй! Много у нас народа уходит! – продолжал он, понизив голос, когда они отошли от мужиков. – Всё эти дворовые сбивают с толка. Понавезли их теперь из Питербурха.

Никита Фёдорович опустился на сваленное на траве бревно.

– Ну, и Бог с ними! – проговорил он. – Пусть их бегут, если у нас не нравится. Что ж, если нехорошо у меня, пусть ищут, где лучше.

– А объявку бы подать следовало, – почтительно, будто рассуждая сам с собою и не смея давать барину советы, сказал Лаврентий.

Князь Никита сделал вид, что не слышит его слов. Он рассеянно смотрел перед собою и совершенно равнодушно переводил взоры с постройки, которая, видимо, ничуть не занимала его, на реку и на мужиков, застучавших уже топорами. Наконец он взглянул и на Лаврентия.

"Удивительно, как природа человека двойственна, – подумал он, – душа и тело... всюду душа и тело! Ведь вот Лаврентий многое понимает, а советует объявку подать. Удивительно... душа и тело".

– Да, так что ж ты говоришь? – спросил Волконский.

– Я говорю, что дворовые народ портят! – ответил Лаврентий, поняв, что слова его насчёт объявки были совсем не к месту. – Вот онамеднись Добрянский, что из Питербурха с нами приехал, ушёл совсем и Зайцева сбил с собою.

– Какой это Зайцев? – спросил князь Никита.

– Пропойца был! – коротко, как говорят про скончавшихся уже, сказал Лаврентий.

– А Добрянский?

Лаврентий, видимо, затруднился ответом и наконец коротко ответил:

– Из Питербурха.

Никита Фёдорович стал припоминать. Добрянский был тот самый человек, который тогда явился и приставал взять его к себе. Потом Никита Фёдорович видел его лицо в толпе, во время казни Девьера. Он же и принёс его домой, когда ему там сделалось дурно.

Это воспоминание было болезненно неприятно. Князь Никита вздрогнул всем телом, точно вдруг пахнул на него сырой, холодный воздух. Образ Добрянского стоял пред его глазами, как живой.

– Ну, Бог с ними! – опять проговорил Никита Фёдорович и встал.

Странное дело – ему несколько раз приходилось замечать, что как только что воспоминание воскресало у него в голове, всегда за ним следовало какое-нибудь несчастье.

"Ну, что за вздор! – попробовал он успокоить себя. – Что может случиться?"

Но Никита Фёдорович чувствовал, что сердце его беспокойно, неудержимо забилось, и предчувствие недоброго, никогда не обманывавшее его до сих пор, сжало ему грудь. Он как-то невольно, почти бессознательно обернулся и к ужасу своему увидел, что не обманулся и теперь.

"Так и есть!" – мелькнуло у него.

По протоптанной к постройке тропинке бежал, семеня своими босыми ногами, мальчишка Акулька с испуганно выкатившимися глазами и бледный, как полотно.

Волконский зажмурился и поднял руки к лицу. Он понял, что несчастье близко, что оно уже тут, и, несмотря на всю его неожиданность, ему уже казалось, что он давно ждёт его.

Акулька подбежал к Лаврентию и, запыхавшись, напрасно слясь передохнуть, отрывисто заговорил:

– Дяденька... там на барский двор солдаты приехали, с наибольшим, и говорят – всех забирать будут... Коли что – я в лесу схоронюсь, а нужно будет – свисните!

И, едва договорив, Акулька снова пустился бегом по направлению леса. "Солдаты!" – мог слышать только Никита Фёдорович и, не помня уже ничего, кинулся домой.

От постройки до дома было довольно далеко и, когда наконец он очутился в воротах, вся кровь прихлынула к его сердцу, и он едва не упал.

У крыльца стояла телега с солдатом, помещавшимся рядом с ямщиком. Сзади было двое верховых.

Народ и с ужасом, и с любопытством толпился вокруг. Бабы голосили. По ту сторону телеги, на крыльце отворилась дверь, и на пороге показалась Аграфена Петровна.

Она была в своём утреннем белом шёлковом капоте, который всегда очень нравился Никите Фёдоровичу, и придерживала его оборку на груди левою рукой; за другую её вёл офицер, отвернувшись и не глядя. Княгиня шла покорно, тихо опустив своё неподвижное, совсем помертвелое лицо, и только её красивые, сухие глаза бегали из стороны в сторону.

Дверь на крыльце снова отворилась: испуганная Роза выбежала с большой шалью в руках и накинула её на Аграфену Петровну.

Всё это было один миг, одна секунда. Не успел Никита Фёдорович броситься к жене, как её уже посадили в телегу. Офицер тоже вскочил туда, и ямщик, повернув затоптавших с места лошадей, закричал расступавшейся толпе:

– Берегись!

Волконский в исступлении ужаса, не помня себя, бросился под лошадь и, кажется, схватил одну из них за морду, но чья-то сильная рука остановила его.

В это время откуда-то сбоку, из-за дома, бежал Миша, всхлипывая, и кричал что-то.

Аграфена Петровна вдруг замахала руками; но телега, не останавливаясь, повернула в ворота.

Никита Фёдорович сильно отдёргнул державшую его руку и, точно

невидимой нитью привязанный к телеге, побежал за нею. Зачем он делал это и чем и кому мог помочь этим, он не сознавал, да и время ли было сознавать что-нибудь! Он бежал, не чувствуя, как большими, размашистыми шагами двигались его ноги, как развевались по ветру его волосы, и грудь тяжело дышала; но своё хриплое дыхание он слышал, не понимая, однако, что это хрипит он сам. Точно рядом бежал другой человек, который хрипел так. Должно быть, рот его был открыт, потому что туда набивалась пыль. В руках что-то мешало. Это была палка. Он бросил палку. Голове было тяжело – он скинул шляпу. Телега то удалялась, то была ближе, но князь не мог догнать её.

Аграфена Петровна, металась там, несколько раз делая движение выскочить, но каждый раз офицер удерживал её, и после этого лошади скакали шибче. Часто тоже сцепившиеся руки Аграфены Петровны подымались, точно она хотела сломать их. Никита Фёдорович видел, что она долго собиралась с силами сделать это. Она чувствовала, что он ещё тут, позади, бежит; но посмотреть на него, несчастного, милого, она всё не могла. И вот, наконец, она как-то всем корпусом перекинулась назад, и её лицо мелькнуло пред ним. Потом вдруг её руки бессильно опустились и голова повисла; и в этом было что-то уже знакомое, девьеровское, жалкое, детское. Она лишилась чувств или умерла.

"Умерла!" – как молотом, ударило Никиту Фёдоровича.

Он вдруг приостановился и только теперь заметил, как скоро ехала удалявшаяся пред его глазами телега.

– Что ж я? – проговорил он и закричал почему-то: – Пустите! – и снова хотел бежать, но ноги его были уже тяжелы, как свинцовые, и помимо его воли отшатнули его в сторону.

Под ногами его была трава, он зацепился за кочку и упал.

Холодное, сырое прикосновение земли было приятно князю. Сознание будто прояснилось, но это было лишь для того, чтобы он мог ещё осязательнее почувствовать свою муку.

"Увезли, "её" увезли!.. Безбожники, жизнь мою увезли!.. Куда? Зачем?.. Кому она мешала и кому она сделала что?" – терзался Никита Фёдорович.

Он лежал ничком, бился о землю головою, царапал руками землю и скрипел челюстями. Щёки его неудержимо прыгали, рот сводился на сторону, и всё тело судорожно вздрагивало.

– А вот ещё... а вот ещё! – со злобою, сквозь скрипевшие зубы, с бешеным злорадством приговаривал князь Никита, и тело его дёргалось новыми судорогами.

Слёз не было у него. Рыдание, одно сухое рыдание остановилось в горле и не могло вырваться.

Так лежащим у дороги нашли его Лаврентий со слугами.

Его подняли, положили в коляску и повезли домой.

Навстречу им попался другой офицер, тоже с конвоем, разобравший переписку Аграфены Петровны и увозивший теперь её письма. Князь Никита не узнал и не понял, что это был за человек.

Дома его отнесли прямо в его комнату, приведённую в беспорядок хозяйничавшим тут офицером.

Никита Фёдорович не потерял способности двигаться. Его посадили – он сел; ему дали воды – он выпил. Но только произвольно он как-то не мог или не хотел двинуть ни рукою, ни ногою. Он смотрел прямо перед собою неподвижными глазами, а когда ему нужно было поглядеть в сторону, он не переводил туда одни только глаза, но поворачивал всю голову, глаза же оставались по-прежнему неподвижны.

Лаврентий принёс ему вместо запylённого, загрязнённого, истерзанного платья чистый шлафрок и туфли вместо испачканных башмаков.

"Нет, не надо, к чему т е п е р ь это?" – хотел сказать князь Никита, потому что в с ё уже теперь кончилось для него.

Но вместо того чтобы произнести эти слова, он издал лишь неясное мычание, воображая, однако, что всё-таки сказал то, что хотел, и даже махнул рукою, хотя вместо всякого другого движения только щёки у него опять запрыгали и рот скривился.

Лаврентий, видя его беспокойство, поспешно отошёл прочь со шлафроком и туфлями.

Волконский не знал, сколько времени прошло с тех пор, как его

посадили так; время для него остановилось. Ему казалось, что он всё ещё бежит за телегою и видит блестящий на солнце шёлк белой одежды Аграфены Петровны. Он раскрыл рот, чтобы ему легче было бежать.

Не отходивший от него Лаврентий подумал, что он хочет пить, и поднёс ему опять воды. Впрочем, Никита Фёдорович действительно хотел пить и с удовольствием сделал несколько больших глотков. Это освежило его. Лаврентий догадался намочить ему голову.

Князь Никита встал, удивлённо посмотрел на Лаврентия и вдруг сделав несколько шагов, сел на пол, и ему стало легче.

Он увидел свою комнату и все предметы в ней снизу, под таким углом, под каким никогда не видал их, и эта разница производила своего рода впечатление, разбивала воспоминание. Комната казалась гораздо-гораздо выше, чем была в действительности, потолок не так давил, и воздуха словно стало больше.

Лаврентий, с испугом всплеснув руками, остановился и смотрел на своего "князиньку".

– А где Миша? – вдруг певучим голосом протянул князь Никита, и эта певучесть собственного голоса ему очень понравилась; ему захотелось ещё раз услышать её.

"Что ж, если запою, если это так надо?" – подумал он и не то запел, не то снова протянул, как-то раздельно:

– Со-о свя-тыми упоко-ой...

Лаврентий закрыл лицо руками, зарыдал и выбежал из комнаты.

За дверями, прижавшись в уголок, сидела Роза.

– Роза Карловна, подите туда, – сказал ей Лаврентий, показывая головой на дверь к князю Никите, – мочи моей нет... не могу... не могу, сердце на куски расходится...

Роза отрицательно покачала головой.

– Если нужно, я тут, – ответила она. – я всё сделает, я для того тут; а как же я пойдёт туда, к господину князю?

Лаврентий махнул рукой на неё.

Миша с самого утра пропал в суматохе. Когда его хватились и стали

искать, его нигде не было. Наконец его нашли у реки, где он сидел на берегу без шапки.

– Батюшка кличет вас, – сказал ему нашедший его и обрадованный этим человек.

– Ах да! Батюшка! – вскрикнул Миша и побежал к отцу.

Никита Фёдорович всё по-прежнему сидел на полу, скорчив ноги, обняв колена и опираясь на них подбородком, когда вошёл к нему сын. Он долю молча смотрел на него, вполне понимая что это – его сын, его Миша, которого он любит, но никакого чувства к нему не находил теперь в себе.

– У вас шиворот-навыворот! – вдруг старательно произнёс он, обращаясь к сыну и показывая на одну из пуговиц его камзольчика, которая действительно была перевёрнута.

Князь Никита отлично сознавал, что говорит почему-то сыну "вы", и что он может удержаться, чтобы не сказать их, но как-то ему вот не хотелось удерживаться, и он сказал.

У Миши было то самое растерянное, виноватое выражение, с которым он приходил обыкновенно, когда не знал урока. После того, что случилось утром, ему уже не казалось ничего странным, и он не удивился, зачем отец так сидел пред ним на полу и зачем, обращаясь с ним на "вы", он говорил о какой-то пуговице. Он думал только о матери и о том, что теперь могло быть с нею.

– А что, маменька не вернётся к нам? – спросил он.

Этот вопрос не раз уже приходил Никите Фёдоровичу в голову в течение этого дня. Он вдруг широко открыл глаза и схватился за голову.

Миша был прав: ведь она могла вернуться. Это было не невозможно. Но вот что можно было сделать ещё: поехать в Москву и там добиться её освобождения.

В голове его появилась тень прежней ясности, и он вдруг заторопился и задвигался.

Лавретий не мог понять, чего он ищет. С этой минуты в голове Никиты Фёдоровича упорно засела только одна мысль – что Аграфенушка может

вернуться. Он искал шляпу, чтобы идти навстречу жене. Он забыл, что шляпа была потеряна утром, и, не найдя её, вышел на двор с непокрытой головой.

Он прошёл к воротам довольно бодро и сел на прилаженную к ним скамеечку, с которой видна была далеко дорога.

Солнце уже низко спустилось на небе. От деревьев и строений легла длинная, косая тень. Вдали на дороге, скрывавшейся в лесу, куда, не отрываясь, смотрел Никита Фёдорович, синел уже полупрозрачный вечерний туман.

И вдруг в этой дымке тумана зашевелилось что-то. Никита Фёдорович протёр глаза. Они не обманывали его – какой-то экипаж подвигался к усадьбе. Лошади уже ясно были видны.

– Видишь? – показал князь Никита Лаврентию.

– Да, – тихо произнёс старик, не смея выразить свою радость, так как подумал:

"А вдруг это – княгиня?"

Волконский так и впился глазами в этот приближавшийся экипаж. Это была коляска. Вот она ближе, ближе. Её бубенчики давно уже стали слышны, и наконец князь Никита увидел растерянное, но старавшееся зачем-то улыбаться, лицо Феденьки Талызина. Он один сидел в своей коляске.

Никита Фёдорович вскочил и, как сумасшедший, побежал назад домой, к себе в комнату.

Талызина встретил Лаврентий.

– Ну, что у вас тут? – спросил гость с таким видом, что он уже знает, что переполох тут был, и что он сейчас "всё устроит".

– Горе, батюшка-барин, большое горе, – ответил Лаврентий, помогая Талызину выйти из коляски. – Приехали утром сегодня... – начал он.

– Знаю, знаю, и у меня были и все бумаги выбрали.

– Какое бумаги: тут не одни бумаги, – княгинюшку взяли и так, как была, увезли.

Талызин раскрыл рот, и всё его обнадеживающее выражение пропало.

– Как, княгинюшку? – переспросил он.

Лаврентий подробно рассказал всё случившееся утром. Талызин слушал, опустив в немом отчаянии голову и руки.

– Ну, а князь Никита? – спросил он, когда Лаврентий кончил.

– Да что он, мой батюшка! Словно дитя малое убивается, без ума совсем. Весь день у себя на полу сидел. Потом вот на дорогу вышел, да вас увидел и снова к себе убёг. С лица за день так изменился, что не узнать... И не плачет! Хотя бы слезинку уронил...

Талызин пошёл к Волконскому.

Никита Фёдорович сидел опять у себя на полу, но при входе гостя встал. Феденька не без робкой неловкости поздоровался с ним и оглядел его не как человека, а как какое-то словно иное, невиданное существо.

Князь Никита действительно сильно изменился. Глаза его были широко открыты, лицо чуть перекосилось, скулы выдались, и лоб мертвенно побледнел.

– И он т а к с самого утра? – спросил Талызин у Лаврентия.

– Что, с самого утра? – злобно сказал Волконский, сдвигая брови.

– Нет, ничего, – испуганно ответил Феденька, как будто удивляясь, что князь Никита не мог понять его слова.

– Я вот что думаю, – вдруг быстро заговорил Никита Фёдорович, глотая слова и не оканчивая их, – как хотите, а вы должны что-нибудь сделать нам. Так сидеть нельзя. Она может вернуться, и мы должны помочь вернуться. Вы как хотите, а я решил уже, что еду завтра в Москву.

Он говорил без придыхания и остановок, ровно, не понижая и не повышая голоса, как будто говорил всё одну и ту же фразу.

Талызин помолчал.

– Слышишь? – обернулся он к Лаврентию шёпотом, но не стесняясь, однако, присутствием Никиты Фёдоровича. – Хочет в Москву ехать. Нельзя пускать: может и себе и другим бед наделать.

С этими словами Талызин повернулся к двери.

– Я посмотрю, кто не пустит меня! – громко крикнул ему вслед Волконский, ударив по столу кулаком.

Талызин остался на ночь.

Князю Никите принесли постель в его комнату. Он велел постлать ему на полу и лёг, не раздеваясь. Лаврентий остался у него в комнате, но Никита Фёдорович прогнал его. Лаврентий сел за дверями.

"Им кажется, что я – сумасшедший, что я сошёл с ума! – подумал Волконский, оставшись один, и улыбнулся этой мысли. – Господи! Да ведь сумасшедшие ничего не понимают, а я всё могу сообразить, всё вижу и чувствую, и мучаюсь".

Он поднял голову и, облокотившись на руку, лёжа стал смотреть перед собою.

Ему вспомнилось широкое поле с убегавшею вдаль дорогою, но не такое, как было сегодня перед его глазами, и на дороге всадники, и она, его будущая жена, в красной накидке и зелёном платье, потом охота, скачка в лесу, старый замок и чёрный доктор с его предсказанием. И князь Никита вспомнил тоже, что всю свою жизнь учился побеждать в себе ч е л о в е ч е с к и е страсти и страдания, что хотел быть выше их, и вот страшный искус был уже перед ним, и он не знал, как выдержит его. Легко ли сказать: что выносил он, и что ещё ждёт его!..

"А они думают, что я – сумасшедший!" – снова улыбнулся он.

Была уже середина ночи, а князь Никита всё ещё лежал с открытыми глазами, не смыкая их ни на минуту.

– Ну, пора! – проговорил он и поднялся.

Он тихонько приотворил дверь. Она скрипнула. Никита Фёдорович притаил дыхание, но всё было тихо. Лаврентий спал на стуле за дверью. Волконский, сам не слыша своих движений, как тень, прошёл мимо него. В средней комнате лежали шляпа и трость Талызина; князь взял их, открыл окно и вылез из него. Теперь он был на свободе.

V РАЗЛУКА

Добравшись до Москвы, Никита Фёдорович прежде всего постарался отыскать Веселовского, но это не скоро удалось ему. Дня через три он нашёл его наконец и узнал, что Веселовский "был тоже взят". Из

остальных друзей жены Волконский не знал, кто был в Москве; и их нельзя было видеть.

Никита Фёдорович вспомнил об Апраксине, которого он знал ещё, когда тот был в Ревеле генерал-губернатором.

Граф Фёдор Матвеевич Апраксин, сподвижник покойного императора Петра I, был членом Верховного совета, считался добродушнейшим человеком и многому мог помочь, если б захотел. Он был ещё покойным императором возведён в чин генерал-адмирала, всегда был на виду и теперь занимал выдающееся положение, но при этом никогда не имел врагов и неприятелей. Его как-то все любили.

Князь Никита решил пойти к нему. Ещё день прошёл в розысках дома, где жил Апраксин.

Он пришёл к Апраксину прямо с парадного крыльца. Сидевший в передней графа старый дворовый, вязавший чулок, встретил его вопросительно-недоумевающе.

– Доложи графу, что князь Никита Фёдорович Волконский желает видеть его.

Эти слова были сказаны таким голосом, и осанка князя Никиты, несмотря на его одежду, так поразила старика, что он встал и пошёл докладывать.

Апраксин принял Волконского у себя в кабинете, сидя у бюро, с табакеркой и платком в руках.

– Милости прошу, будьте здоровы, – ласково встретил он князя Никиту, как неизменно встречал каждого своею добродушной улыбкой.

Никита Фёдорович сразу заговорил о деле. Апраксин выслушал, не перебивая, грустно-серьёзно.

– Знаю, знаю, – проговорил он наконец. – Намедни в Верховном совете слушали.

– Ну, и что ж? – бледнея, спросил Волконский.

Старик Апраксин пожал плечами.

– Ничего против немцев не поделаешь. Уж больно они скоры и всё поворачивают на свою сторону. Я ещё тогда в Петербурге за Маврина да

Ганнибала старался говорить – куда! Только хуже вышло.

Фёдор Матвеевич махнул рукой, в пальцах которой зажал уже щепотку табака, и потом впихнул этот табак в нос.

– Ну, а теперь? – спросил опять Волконский.

– Теперь?.. что ж теперь?.. Да вот самое дело у меня, – я прочту, если хотите. – Апраксин взял подшитые одна к другой бумаги толстою тетрадкой, отвернул несколько листов и стал читать: – "Дворовые люди, Зайцев и Добрянский, явились к Андрею Ивановичу Остерману..."

– А! – беспомощно произнёс князь Никита.

Апраксин мельком взглянул на него и продолжал, как бы желая успокоить:

"Донесли, что помещице их, княгине Волконской, велено, за продерзости её, жить в деревне, не выезжая в Москву (слово "продерзости" он проглотил как-то), а она постоянно пребывает в подмосковной деревне двоюродного своего брата Фёдора Талызина, откуда ездит тайно в Москву, в Тушино, для свидания с Юрием Нелединским и с другими некоторыми людьми, между прочим, виделась и с секретарём Исаком Веселовским; ведёт тайную переписку со многими лицами в Москву и другие места; недавно же привёз тайно из Митавы, от отца её, Петра Бестужева, человек его письма, зашитые в подушки..."

– Ну, тут идёт переписка, – сказал Апраксин, снова переворачивая сразу большую пачку разноформатной исписанной бумаги, – а вот мнение совета... – Он пробежал глазами несколько строк про себя и опять громко прочёл: – "Княгиня Волконская и её приятели делали партии и искали при дворе беспокойство, и дабы то своё намерение сильнее в действие произвести могли, искали себе помощи через Венский двор и так хотели вмешать постороннего государя в домовые его императорского величества дела... Сверх же того проповедовали о делах Верховного тайного совета..." – Апраксин пропустил ещё несколько строк. "За такие вины, – продолжал он, – совет рассудил [14] : княгиню Волконскую сослать до указа в дальний женский монастырь и содержать её там неисходно под надзором игуменьи; сенатору Нелединскому в сенате у

дел не быть; Егору Пашкову в военной коллегии не быть; Веселовского сослать в Гилян, Черкасова – в Астрахань к провиантным делам..."

Апраксин, видимо, разошёлся, попав на разбор дела и, по привычке к докладам, не мог остановиться и покатился, желая представить дело как можно обстоятельнее. Он уже сам себя слушал:

– Вышеречённое мнение, – заговорил он приятным голосом, – было отправлено к князю Алексею Григорьевичу Долгорукову при следующем письме: "Сиятельный князь! Понеже дело княгини Волконской и прочих по тому делу ко окончанию приведено, того ради ваше сиятельство просим, извольте по тому мнению его величеству доложить, и что изволит указать, о том нас уведомить". И князь Алексей прислал немедленный ответ таковой: "Сиятельные тайные советники, мои милостивые государи, по письму ваших сиятельств и по присланном приговоре его императорскому величеству докладывал, и через сие моё объявлю: его величество по приговору ваших сиятельств быть повелел, и тако сие донести пребываю и прочее..." Так вот, – заключил Апраксин и, подняв взор на князя Никиту, ужаснулся тому, что сделал.

Волконский сидел пред ним, точно хотел вскочить и вцепиться в него. Особенно страшны казались его глаза, щёки дёргались.

– Так вот, – заговорил он, – что ж, вы хотите разлучить меня с нею? Разлучить?.. Да разве это в вашей власти?.. Разве это в вашей власти, спрашиваю я вас? – И вдруг он захохотал, захохотал так, что Апраксину сделалось холодно. – Да, я смеюсь, – силился проговорить он сквозь смех, – я смеюсь над вами и презираю вас, как презираю ту разлуку, какую вы здесь придумали. А вы забыли дух... Дух! – вскрикнул Волконский, вскакивая с места и махая плавно, но неестественно своим словам руками. – Я захочу – и буду возле неё сейчас, духом моим буду... Он вечен... Я вечен. Разлука ваша – лишение... лишение человеческое... испытание духа. Я выдержу его. Это так ничтожно, временно. Здесь мне ничего не нужно... Суета!.. Всё – суета и томление духа... Я над вами смеюсь... – и он снова засмеялся.

Добродушный старик Апраксин растерянно смотрел на него, держа

наотлёт свою табакерку с платком. Вдруг, точно он вспомнил что-то, он встал и старческими, особенно старческими в минуту сильного волнения шагами подошёл к Волконскому. Он всем телом дрожал.

– Успокойтесь, князинька, – проговорил он, – успокойтесь, голубчик; вот пройдёте сюда! – и он своей трясущейся рукой силился поднять князя Никиту.

Волконский перестал смеяться, тихо поднялся с кресел, огляделся и покорно пошёл, куда его вёл Апраксин. Тот довёл его до двери, втолкнул в маленькую соседнюю комнатку и быстро запер дверь.

С этой минуты князь Никита долго не помнил ничего.

Сначала была какая-то тишина и стемнело. Потом опять рассвело. Кажется, кто-то приходил, какие-то верёвки стягивали неловко ему руки; потом стук колёс, и снова тишина – долгая, долгая тишина.

После этой долгой тишины он вдруг почувствовал, что грудь его дышит, и сердце бьётся в ней. Он открыл глаза и огляделся. Он лежал в полутёмной комнате с каким-то окошечком наверху; под ним почему-то вместо постели была солома. Он ощупал себя руками и разглядел их. На них, повыше кисти, были заживающие уже поперечные ссадины.

"Меня связывали, – догадался князь Никита, – но зачем?"

– Вот он тут у меня, – послышался за деревянной перегородкой голос. – Лежит вторую неделю без движения; теперь столбняк на него нашёл. Я вам говорю, совсем без ума, всё равно, что зверь без души.

Никита Фёдорович узнал говоривший голос. Это был Феденька Талызин.

– А доктору показывали? – спросил другой голос, тоже знакомый.

– Да что ж, доктору? Вы знаете, ведь там у докторов на цепь сажают и обращение уж очень крутое, – здесь, у меня, ему всё-таки лучше. Вот вас дожидался, а теперь посмотрим... Вы всё-таки хотите пройти к нему?

– Да, – ответил всё тот же знакомый голос.

– Ох, не ходите, Михаил Петрович, неровен час!

"Михаил Петрович! – подумал Волконский. – Это – П а н т а л о н!" – вспомнил он почему-то именно прозвище шурина.

– Да отчего вы его держите взаперти, – опять спросил Бестужев, – разве

он буен?

– Нет, не буен – смирный. Но тогда, как он убежал от нас, мы, как ни искали, не могли найти его. Думали уже, что кончил с собою, да вдруг он явился в Москве, к самому Апраксину-старика, наговорил ему всего совсем несуразного, уверял, что он – дух, а не человек, смеялся, кричал, что он вечен и всемогущ. И смех и горе просто... Напугал так старика... Тот его насилу в комнату запер. Прислали за мною... Ну, вот я привёз его к себе и боюсь, чтобы он снова не ушёл да не натворил чего.

– Ну, а "ей" не сказали, что он сошёл с ума?

– Нет, она не знает, ей только сказали, что он болен. А очень ей хотелось видеть его, как уезжала.

– Пустите меня к ней!.. Не сумасшедший я вовсе! – вдруг ясно и отчётливо крикнул князь Никита.

– Слышите? Очнулся! – проговорил Талызин.

– Ну да, пойдёмте к нему!

Замок щёлкнул. Маленькая дверь открылась, и в ней показалась фигура Михаила Петровича. Талызин не вошёл.

Бестужев поздоровался с князем Никитой, пощупал его голову, оглядел руки и спросил, давно ли Никита Фёдорович был на воздухе.

– Не помню, – ответил он совершенно твёрдо.

– А хотели бы пройтись?

Никита Фёдорович вместо ответа бодро встал со своей соломы.

Бестужев взял его под руку и вывел на свет.

Волконский вышел, щурясь после своей полутёмной комнаты.

– А где Миша, Лаврентий? – спросил он.

– Они придут, придут, – успокоительно произнёс Михаил Петрович.

Лаврентий действительно сейчас же пришёл. Волконский при его помощи умылся, надел чистое бельё, камзол и башмаки и вышел в сад к Михаилу Петровичу. Талызин не показывался.

Никита Фёдорович долго ходил по саду с Бестужевым, стараясь как можно разумнее доказать, что он не сумасшедший, и, беспрестанно повторяя это слово, говорил по чести, что всё может понять и понимает.

Михаил Петрович не только не возражал, но часто одобрительно кивал головою, как будто верил в каждое слово Волконского, вполне разделял его мнение и убеждался его доводами. Наконец он будто совсем убедился и ушёл в дом по аллее, с видом человека, которому предстоит ещё много дела.

Никита Фёдорович остался ходить в саду с Лаврентием, который почему-то счёл нужным поддержать его под руку, хотя князь шёл совсем бодро. Волконский, как бы не желая обидеть Лаврентия, не запрещал ему делать это, если ему так казалось лучше, и продолжал ходить молча.

Наконец в аллее показался Талызин, неуверенно подходивший к князю Никите. Волконский остановился навстречу ему. Феденька подошёл на приличное всё-таки расстояние и участливо, стараясь говорить как можно спокойнее, спросил:

– Ну что, как вы? Не хотите ли отдохнуть? Вам уже пора спать, я думаю. Это значило другими словами – ступайте под замок.

Волконский ничего не отвечал. Прошло несколько времени неловкого, тяжёлого молчания. Наконец выступил вперёд Лаврентий.

– Батюшка-барин, – заговорил он, повалясь Талызину в ноги, – отпустите нас к себе! Мы никому зла не сделаем. Отпустите, что вам теперь... мы уедем, ей-Богу, сейчас уедем... Чего вам бояться отпустить нас...

И Лаврентий стал просить и доказывать, что лучше всего для его князиньки уехать к себе и что он будет жить там, голубчик, никого не трогая.

– Конечно, пустите меня домой, – проговорил князь Никита так просто и здраво, что Талызину показалось это, наконец, вполне должным и возможным.

– Как угодно, – протяжно проговорил он. – Как угодно вам... Что ж, я сейчас же велю заложить коляску... я сейчас...

– Благодарю вас, – сказал Волконский, протягивая руку.

– Я сейчас, – повторил Талызин и, быстро повернувшись, почти бегом направился в дом.

В это время со стороны двора, у крыльца дома, стояла уже коляска Михаила Петровича Бестужева, и возле неё хлопотали люди с вещами.

Сам Бестужев, одетый по-дорожному, стоял тут же, держа за руку Мишу, которого увозил с собою, к себе, не желая оставить его на руках Талызина, а тем более сумасшедшего отца.

– Просится к себе. Как вы думаете, отпустить? – спросил, подходя, Талызин, бровями показывая, что говорит про того, кто в саду.

– Отпускайте, всё равно, – бегло, сквозь зубы произнёс Михаил Петрович, тоже показывая глазами на Мишу, чтобы Талызин замолчал при нём: дескать, вы там, как хотите, мне всё равно, а ребёнка дайте увезти спокойно.

– Дяденька, – сказал Миша, – мне хотелось бы повидать на прощанье батюшку.

– Я сказал тебе, что отец твой болен и лучше не беспокоить его, – ответил Бестужев, – он скоро выздоровеет и приедет к нам.

Миша недоверчиво, глубоко вздохнул.

– Ну, готово! – проговорил Михаил Петрович. – Едем! – и он стал прощаться с Талызиным.

Через час другая коляска стояла у крыльца. Князь Никита с Лаврентием уезжали к себе.

– А Миша, где же Миша? – беспокойно спрашивал Никита Фёдорович.

Ему сказали, что Миша ждёт его у них в деревне, и князь Никита уехал домой в надежде, что увидит там сына.

VI. В ДЕРЕВНЕ

Когда князь Никита приехал к себе в деревню и не нашёл там сына, он принял это гораздо спокойнее, чем думал Лаврентий, как будто он ждал этого и был готов к тому, или как будто это новое несчастье кольнуло его в такую душевную рану, боль которой была уже настолько сильна, что её ничем, никаким новым несчастьем нельзя было увеличить.

Он поселился в опустевшем теперь для него доме и по целым дням ходил, не проронив ни одного слова. Учение было оставлено. Медицина и

книги – всё оставлено. Постройка, которую не для кого было делать, стояла в запустении, доски мало-помалу разносили, кто хотел ими пользоваться, и пробитая к ней тропинка заросла свежеею, зелёною травой.

Князь Никита ничего не делал и ни с кем, даже с Лаврентием, не говорил. Ел он редко, когда попадётся, спал, когда случится, иногда среди дня, где-нибудь в углу, на кресле. Ночи почти всегда были у него бессонные.

"Ух, тяжело! – думал он всегда одно и то же, – тяжело вот тут, – он брался за грудь и сдавливал её. – Один... один... Всех взяли, всех увезли... Но я снесу... И его увезли... Тяжело!.. Они думают, что я сумасшедший, – но мне легче было бы, если бы я с ума сошёл. Я не понимал бы тогда, а тут я живу, я понимаю..."

Иногда он пробовал закрывать глаза и, закрыв их, вызывал пред собою милые ему образы, – и тогда недавнее прошлое представлялось ему так ясно, так подробно, как будто он всё ещё жил в нём. Это облегчало на один миг, на один миг приносило отраду; но глаза открывались – и действительность становилась ещё мучительнее, чувствовалась ещё живее.

Князь Никита не пропускал ни одной церковной службы.

Он часто тоже молился пред большой киотой в спальне, пред которой столько лет каждый день утром и вечером читал молитвы, стоя вместе со своей княгиней. Порою, когда он с закрытыми глазами и со сложенными руками опускался теперь здесь один на колена, ему вдруг казалось, что рядом с ним снова шепчет милый, тихий голос, повторяя за ним. Это был голос её, Аграфены Петровны, и князь Никита обыкновенно слышал его так ясно, что верил, что это она, действительно она приходила к нему.

Он писал длинные письма и жене, и сыну, и Михаилу Петровичу, но не получал ответа, словно его письма не доходили никуда.

Так прошло месяца три.

Князь Никита всё молчал по-прежнему, подолгу глядел в одну случайно попавшуюся на глаза точку, выходил из дома с непокрытою, несмотря на

дождь и непогоду, головою и по целым дням без отдыха и устали бродил, не замечая, куда он идёт. Он часто подходил так к обрыву реки, но так же бессознательно поворачивал назад, как и подошёл, словно кто-нибудь удерживал его и отводил от опасного места.

Крестьяне уже привыкли встречать его так, и с сожалением, соболезнуя, долго провожали глазами "своего несчастного князьку", как они говорили.

Наконец душевное состояние князя Никиты дошло до таких пределов невыразимой, безмерной муки, что он по временам терял сознание под её безысходным гнѐтом.

У него явились совсем особенные, не свойственные другим людям движения. Так, по временам он выставлял пред собою согнутые руки и, плавно и мерно приседая, поводил ими вперѐд и назад, будто плыл. Ему всё казалось, что внутри его будто колыхается что-то, точно хочет поднять его от земли.

Раз он вернулся после целого дня ходьбы в таком состоянии, что даже привыкший к его виду Лаврентий поразился. Князь Никита, как лунатик, не видя ничего по сторонам, прошѐл прямо в комнату, которая прежде называлась его комнатой (теперь такое название не имело уже смысла – он был один во всѐм доме), и приблизился к столу.

"Что-то мне тут нужно было? – вспоминал он. – Но что?.. Я зачем-то шѐл сюда..."

На глаза ему попался ножик; он отбросил его.

"Библия!" – вспомнил князь и взял со стола запылѐнную толстую книгу.

Прежде он часто, когда его мучило что-нибудь, брал эту книгу, развёртывал её наугад и всегда находил себе ответ. Он вспомнил это теперь и хотел посмотреть, что скажет ему Библия.

Он зажмурил глаза, как всегда делал, взял обеими руками книгу, повернул её вверх обрезом и, перебрав большими пальцами края листов, быстро раскрыл, словно сломал её на две части.

Ему открылся тридцать седьмой псалом:

"Сердце моѐ трепещет, оставила меня сила моя, и свет очей моих – и

того нет у меня.

Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали.

Ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей и замышляют всякий день козни.

А я, как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает уст своих. И стал я, как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа.

Ибо на Тебя, Господи, уповаю я; Ты услышишь, Господи Боже мой..."

– Ты услышишь, Господи Боже мой! – повторил вслух князь Никита и положил книгу на место.

И ему стало легче.

Теперь душевная мука как-то меньше мешала его мыслям слагаться последовательно и связно. Теперь он мог заняться ими и хоть на некоторое время отвлечься от своих мучений.

"Что-то важное нужно мне было обдумать, – рассуждал он. – Да! Весь вопрос в том, болен я или нет, сумасшедший я или не сумасшедший. Впрочем, это всё равно. Но как поступил бы здоровый человек на моём месте?"

Он первый сомневался в здравости своего ума.

Конечно, я болен, – решил он, – разве здоровый человек сидел бы так, когда никто не мешает поехать хоть сейчас к ней и жить возле её Тихвинского монастыря".

Волконский узнал через Лаврентия, что Аграфена Петровна была сослана в Тихвинский монастырь.

"Однако эта мысль всё-таки пришла мне в голову, – сейчас же подумал он, – значит, я ещё не совсем того... Завтра же подумаю, как ехать туда... Но отчего же завтра?.. А вот отчего: имею ли я право ехать туда, если так нужно, чтобы мы некоторое время были по-человечески розно?.. Я могу поехать, но это будет слабостью... Значит, я нарушу испытание, и освобождение моего духа отложится... Это так, а теперь оно близко... близко".

Князь подошёл к образу и забыл, о чём только что думал.

Через несколько дней он опять вспомнил об этом и стал собираться в Тихвин, но мысли его опять рассеялись, словно растаяли. Однако он всё-таки не решил окончательно не ехать, а только как-то не мог во всех подробностях мысленно охватить своё предположение; всегда, дойдя до известного места, рассуждения его сворачивали в сторону так же невольно, как он сворачивал, близко подойдя к обрыву реки.

Вечера с каждым днём становились длиннее. Наконец выпал снег, и наступила зима, принёсшая со своим снегом, холодом, ранними сумерками и заунывным воем метели ещё больше тоски и томления. Но и зимою князь Никита по-прежнему выходил из дома, и если б следивший за ним Лаврентий не успевал накидывать на него его беличью короткую шубку, он так и шёл бы на мороз без верхнего платья.

А через несколько времени, в январе 1730 года, скончался от оспы в Москве молодой император Пётр Алексеевич. Российский престол снова был свободен, и снова поднялся вопрос: кто займёт его?

В деревню князя Никиты эти новости хотя и дошли очень скоро, и Лаврентий сообщил ему их, но князь как-то не придавал важности этому событию. Ему не пришло в голову, что участь его Аграфены Петровны зависит теперь от лица, которое взойдёт на этот престол, и что княгиня Волконская, обвинённая по проискам Остермана, сильного в царствование молодого Петра, может получить помилование теперь, если при изменившихся обстоятельствах сам Остерман впадёт в немилость.

Екклезиаст говорил:

"Ещё видел я под солнцем: место суда, а там беззаконие; место правды, а там неправда.

И сказал я в сердце своём: праведного и нечестивого будет судить Бог; потому что время для каждой вещи и суд над всяким делом там".

В конце февраля стояли ещё морозные дни, но они были ясны, и снег ослепительно блестел под игравшими на нём лучами солнца.

Князь Никита в своей беличьей шубке прошёлся далеко по полю по дороге и возвращался через деревню домой.

Какое-то непривычное, странное оживление было заметно в деревне. Староста с дубинкой ходил под оконца изб, постукивал и вызывал мужиков. Те выходили, оправлялись и нехотя, но всё-таки поспешно подвигались к церкви. Бабы прятались.

У церкви собралась уже большая толпа. На паперти стояли несколько приезжих военных, губернаторский чиновник и деревенский священник во всём облачении и с крестом в руках.

Князь Никита не спеша подошёл к толпе, которая всё прибывала. На паперти, видимо, заметили его приближение, потому что офицер, показывая на Волконского, спросил что-то у чиновника и кивнул головою.

– Дядя Ермил, али драть кого будут? – спросил неподалёку от Никиты Фёдоровича подбежавший парень, но дядя Ермил уже не ответил ему.

Две какие-то бабы с коромыслами на плечах подошли было тоже к толпе, но, увидев на паперти чиновника, ахнули и, побросав вёдра, стремглав, сдуру, кинулись прочь бегом.

В это время староста, степенный мужик, обойдя, должно быть, деревню, подошёл без шапки к губернаторскому чиновнику и с низким поклоном доложил ему что-то.

Чиновник даже не обернулся на этот низкий, почти земной поклон старосты и, махнув рукою остальным мужикам, и без того стоявшим без шапок, в полном молчании, развернул большую бумагу с печатью. Военные приложили руки к шляпам.

Чиновник прочёл манифест о восшествии на престол государыни императрицы Анны Иоанновны. Он читал очень дурно, и чтение продолжалось очень долго, он давно охрип, видимо, не в первый уже раз читая манифест на холоде.

Когда чиновник кончил, толпа некоторое время оставалась сначала безгласною. Потом вдруг откуда-то из задних рядов послышался пробасивший голос:

– Не согласны!

Стоявший у самой паперти староста вздрогнул и, побледнев, беспокойно

обернулся, отыскивая глазами того, чей был этот голос. Но этот голос сейчас же стал голосом всей толпы.

– Не согласны, не согласны, – сдержанно, но потом всё смелее послышалось кругом.

Чиновник растерянно оглянулся и посмотрел на офицера, как бы ища его помощи. Офицер молча смотрел на толпу, сурово поводя глазами и наморщив брови.

А волнение толпы разрасталось.

– Ишь нашли – императрица! Как же... когда сам царь Пётр жив... жив... пра-а!.. К нам едет... Не согласны... как же... а энто опять... Жив... И по старому закону...

Толпа гудела бессвязные, бессмысленные речи. Очевидно, ходившие толки повлияли на мужиков, они что-то слышали и хотели как-то показать свою разумность, протестовали против чего-то. Но князь Никита, следивший теперь за всем происходившим, понимал только одно – и это было для него главное в эту минуту, – что эти люди, запротестовавшие под влиянием сбившей их с толку молвы и неожиданного объявления о воцарении новой императрицы (он не успел ещё вспомнить, что это была та самая Анна Иоанновна, которую он знал бедною, забытою герцогиней в Курляндии), – бормотали свои несуразные слова, собственно, не желая никому зла; вместе с тем князь Никита видел, что стоявший на паперти офицер тоже зла никому не хотел, но лицо его становилось всё грознее и грознее, и пройдёт ещё минута – и офицер велит бить этих людей, и им будет больно, и это будет ужасно, и, главное – не нужно.

Князь сделал шаг вперёд. Толпа вдруг расступилась пред ним, пропуская его.

Да, пред этим спокойным, неподвижным, тихим лицом и нельзя было не расступиться толпе. Князь Никита сильно изменился в последние полтора года. Бледный, высокий лоб его покрылся морщинами, щёки, покрытые сквозною бледностью, ввалились, в глазах светился лихорадочный огонь, губы побледнели, и весь он исхудал, как только может исхудать человек.

Высокий, строгий, смотрящий прямо перед собою, он прошёл среди толпы, которая вдруг вся, заметив его, притихла, поднялся на две ступени паперти и высоко поднял правую руку.

Священник, воспользовавшись минутой тишины, начал читать слова присяги, и князь Никита слабым, но внятным голосом стал присягать как помещик за себя и за своих крестьян новой императрице Анне Иоанновне, а затем, кончив присягу, спустился со ступеней паперти, и снова, не обращая ни на кого внимания, ушёл по дороге в поле.

Чиновника и военных угощал в барском доме Лаврентий.

VII ГОСТЬ

Никита Фёдорович, как обыкновенно, сидел вечером дома в большом кресле и не то грезил наяву воспоминаниями прошлого, не то дремал, потому что спать не мог.

На дворе крутила метель, с подветренной стороны заносившая маленький домик снегом выше окон. Метель жалобно пела свои бесконечные песни и белыми вертящимися призраками носилась кругом, словно ища, с которой стороны ворваться в жильё, и сердилась, что это жильё не пускало её.

Восковая свеча тускло горела на столике у кресла, где лежала развёрнутая Библия.

Вдруг в этих однообразных, надоевших и приучивших к себе ухо звуках метели послышался какой-то новый, задорный, привходящий звук. Это были колокольчик и бубенчики.

Князь Никита прислушался: колокольчик звучал под самыми окнами.

Лаврентий хлопнул дверью своей комнатки и тяжёлыми, быстрыми шагами побежал в сени.

Скоро в сенях послышались стук, кашлянье и возня. Кто-то приехал.

Но Никите Фёдоровичу было безразлично. Пусть приезжают! Это его, как ничто другое, не могло интересовать.

– Батюшка, князинька, – послышался голос Лаврентия, – посмотрите, приехал-то кто?

В комнату входил Черемзин.

Волконский как-то написал ему, и, получив это письмо и узнав обо всём случившемся, Черемзин при первой же возможности собрался и приехал навестить князя Никиту.

Об истинном положении "князиньки" Лаврентий успел уже в передней доложить Черемзину, который, впрочем, и по письму уже догадывался.

Никита Фёдорович быстро встал навстречу гостю и исподлобья взглянул на него, точно конфузясь и стыдясь приятеля. Он остановился с опущенными руками, выпрямившись во весь рост...

– Батюшка-барин, садитесь, – заговорил Лаврентий, подставляя посетителю стул, – сейчас я вам принесу с дороги-то закусить, да горяченького чего-нибудь... я сейчас, сейчас! – и взволнованный старик слуга, подбирая слёзы, побежал за горяченьким...

Черемзин сел против князя Никиты, который вместо радости, вместо всякого другого чувства, продолжал ощущать всю свою неловкость, охватившую его при появлении нежданного гостя.

Эти два человека, сидевшие с глазу на глаз и начавшие когда-то почти вместе жизнь, были теперь совершенно не похожи друг на друга. Никита Фёдорович был худ, бледен, изнеможен и едва держался в коже и косточках, как говаривал Лаврентий, Черемзин же был румян, бодр, здоров, видимо, привык встречать только улыбку жизни и избалован ею, казался не только свежее, но и моложе своего товарища детства.

Черемзин думал, что он сделал всё от него зависящее – приехал за тридевять земель, специально для того, чтобы навестить Волконского, помочь ему и утешить его, но теперь видел, что тут ни помочь, ни утешить нельзя. И чувство конфузливости и неловкости стало мало-помалу овладевать и им.

– Вот беда – спать не могу совсем! – произнёс вдруг почему-то князь Никита, как будто всё его горе и заключалось только в этом.

У Черемзина сердце сжалось щемящею болью. Ему было невыносимо жалко смотреть на Волконского. Он только теперь понял всё его ужасное положение, которое издавна казалось ему не таким беспомощным.

Лаврентий принёс закусить.

– Ну, как вы, барин? – спросил он Черемзина. – Как изволите жить? Давно ведь не видели – с самого последнего приезда.

Черемзин был благодарен Лаврентию, что тот заговорил и дал, так сказать, возможность выйти из неловкого молчания. Действительно, трудно было начать о чём-нибудь беседу. Говорить о самом князе Никите и его горе – значило ещё больше растревлять его. О самом себе Черемзин боялся говорить, потому что был слишком счастлив, слишком избалован своею жизнью.

– Жениться изволили? Деточки есть? – спросил между тем Лаврентий.

– Да, я женат и дети есть, – ответил Черемзин тихо, точно извиняясь за своё счастье.

– Ты женат? – спросил Волконский.

– Да, на Трубецкой, помнишь? и тебе обязан этим.

– Как мне? – удивился князь Никита. – Отчего мне?

– Да как же! Помнишь, когда я приезжал... – Он хотел сказать "к вам", но удержался, – приезжал сюда, отчаявшись, что моя Ирина Петровна будет когда-нибудь моею... Тогда старый привередник-князь – он жив до сих пор и уже во многом переменился, – не желая отдавать дочь за меня, придрался к тому, что я не на десять лет старше её, а только на девять.

– Ну? – спросил Волконский, и в его глазах появилось как будто внимание.

Этот свежий, здоровый голос Черемзина и сам Черемзин, говоривший о вещах, совершенно противоположных тому, о чём князь Никита думал изо дня в день, перебили его думы, ворвались к нему и готовы были охватить и хотя на миг рассеять его.

Никита Фёдорович невольно подчинился рассказу гостя и стал следить за ним.

Хотя ему говорили, что всё это он должен был помнить, однако, он ничего не помнил и слушал как новое, но тем не менее почему-то занимательное.

– Ну, и ты же мне помог тогда, – продолжал Черемзин с большим

оживлением, видя, что его слова производят благоприятное действие. – Ты меня уговорил ехать назад в деревню к себе и дал мне с собою запечатанную бумагу. В ней я нашёл расчёт, по которому выходило, что я старше Ирины Петровны на столько именно лет, на сколько требовал её отец. Трубецкой только развёл руками и согласился.

– Как же это так? – опять спросил Волконский, придвигаясь.

Он чувствовал, что рад, что ему говорят о постороннем, и что он может направить свои мысли на это постороннее.

– Очень просто, – пояснил Черемзин, делая вид, что тут не было ничего странного в том, что князь Никита забыл об этом. – Видишь ли, я родился в 1689 году. В 1727 году, когда я женился, Ирине Петровне было двадцать девять лет. Старик Трубецкой вычел тогда 1689 из 1727 и решил, что мне 38 лет, понимаешь? Но дело в том, что я родился в октябре. Ты и вспомнил, что у нас до 1700 года новый год встречали в сентябре, и только с этого года – с января. Таким образом вышло, что в 1699 году было два октября. В первый октябрь мне минуло десять лет, – во второй – одиннадцать, а в октябре 1700 года было уже двенадцать. Значит, в 1727 году мне было тридцать девять лет... и я оказался старше своей невесты ровно на десять лет. Она же родилась в июле, и поэтому относительно её не могло произойти ошибки.

– Так! – произнёс Волконский. – И неужели это я придумал, тогда?

– Да, ты.

Разговаривая таким образом, Черемзин ни разу не намекал, не коснулся того, что могло бы затронуть и разбередить душевную рану Никиты Фёдоровича.

Он пробыл у князя опять недели две и всё время был разговорчивым и занимательным. Он знал, что помочь Волконскому ничем нельзя, а можно было только облегчить его нравственные страдания, и это облегчение состояло лишь в том, чтобы по возможности рассеять его.

Он звал князя Никиту к себе.

– Куда мне! – грустно ответил Никита Фёдорович, и Черемзин перевёл разговор на другую тему.

Через две недели он уехал к себе в деревню, к своей Ирине Петровне, любящей и любимой, с которой в первый раз после свадьбы расстался, чтобы навестить друга. Он невольно стремился к ней, к своей счастливой, тихой жизни.

Теперь он чувствовал ещё глубже, ещё осязательней то счастье, которое выпало на его долю.

Приезд Черемзина освежил Никиту Фёдоровича.

Он с Лаврентием проводил гостя, как близкого, как родного человека.

– И посмотрю я на вас, князинька, – сказал Лаврентий Никите Фёдоровичу, – за что судьба слепа так! Отчего другим счастье здесь посылается, а вам не дано оно? Чем, правда, прогневали вы Господа? Кажется, другого такого я и не видывал, а вот доброта ваша не имеет награды!.. Уж я и так думал: правда, есть несчастливые, и ещё несчастнее вашего, да нам-то от этого разве легче... легче разве? – с сокрушением повторил он.

Никита Фёдорович сидел, опустив голову на руки, и задумчиво слушал старика слугу.

– Ты жалеешь меня, – вдруг сказал он, – находишь несчастным, потому что у нас был добрый человек, которому здесь, на земле, хорошо живётся. Вот ты и меня пожалел. А чего жалеть меня? Я не жалею. Недолго осталось. А здешняя жизнь всё равно – испытание; и ему, – он говорил про Черемзина, – в его счастье испытание, и мне в моём горе – тоже испытание. И его испытание гораздо труднее моего. Нет, жалеть меня не нужно... не нужно, Лаврентий! – заключил князь Никита и снова задумался.

Лаврентий взглянул на него молча, вздохнул и ушёл к себе.

Вскоре после отъезда Черемзина Никита Фёдорович, облегчённый ненадолго в своём страдании, снова был охвачен им, и снова его мысли сосредоточились на прежнем, и недуг завладел им.

VIII СНОВА В ПЕТЕРБУРГЕ

Та самая Анна Иоанновна, незначительная герцогиня маленькой

Курляндии, которая содержалась в Митаве из политических видов, у которой никто не спрашивался, не спрашивал, нравится ли ей самой тоска и скука, которую она испытывала, проводя лучшие годы взаперти, – та самая герцогиня Анна, которая робела перед Меншиковым и приезжала в Петербург хлопотать за своего Морица и которой запретили думать о Морице и велели снова ехать в ненавистное ей "своё" герцогство, – та самая, которая так недавно ещё беднялась, жаловалась на свою судьбу, не видела выхода впереди и со "вдовьим сиротством" переносившая своё положение – теперь вдруг стала могущественной государыней России.

Обстоятельства сложились так, что, чем забитее, чем униженнее была удалённая от двора и всех его интриг дочь Иоанна Алексеевича, родного брата императора Петра, тем оказалась вернее и надёжнее дорога её к Российскому престолу.

По смерти Петра II члены Верховного тайного совета рассудили ограничить императорскую власть и получить львиную часть в управлении государством.

– Батюшки мои, прибавьте нам как можно больше воли! – слышалось тогда на совещаниях.

И вот была избрана смиренная, как думали, привыкшая к подчинению герцогиня Курляндская, то есть лицо, которое вполне соответствовало планам "верховников", как называли тогда господ, захвативших в свои руки власть.

Ей посланы были в Митаву приглашения и ограничительные пункты, которые она должна была подписать.

Анна Иоанновна, подписав пункты, явилась в Москву государыней. Но как только верховная власть перестала быть отвлечённой, воплотилась в живое лицо, так всякие мудрые и хитрые ограничения пали сами собою. Анна Иоанновна явилась государыней, и Россия, вопреки "верховникам", назвала её самодержавною, потому что не хотела и не могла полюбить другую власть.

Ограничительные пункты были разорваны, "верховники" подчинились без возражений, и Анна Иоанновна короновалась единовластною и

самодержавною. Полученные ею в молодости предсказания о короне сбылись.

Первые два года своего царствования Анна провела в беспокойстве в Москве, не зная, насколько сильна она и насколько серьёзна та опасность, которая может возникнуть от готовых с каждым днём появиться придворных интриг.

Это беспокойное, переходное состояние наконец выяснилось к концу второго года. Главная надежда была на гвардию, в преданности которой нельзя было уже сомневаться, и Анна Иоанновна решилась переехать в Петербург на постоянное жительство, со спокойным сердцем оканчивая своё временное, тревожное пребывание в Москве.

Торжественный въезд императрицы в Петербург состоялся в начале января 1732 года.

Анна Иоанновна поселилась в старом зимнем дворце и уже на свободе устроила свою жизнь так, как ей хотелось.

Дела государственные ведал учреждённый ею вместо прежнего Верховного совета кабинет министров.

Совершенно неподготовленная к тому месту, которое судьба предназначила ей, Анна Иоанновна занималась с гораздо большею охотой своими личными делами. И в этих личных делах был один маленький уголок, было одно воспоминание, которое не раз уже приходило ей в голову с тех пор, как она стала всемогущею повелительницей.

Многие из тех, против кого она прежде имела что-нибудь получили уже, по её мнению, "должное", но Аграфена Бестужева, по мужу княгиня Волконская, жила, сосланная в монастырь: её "дело" было давным-давно закончено и рассмотрено, и для его возобновления не было повода. Аграфена Петровна со своим монастырским житьём как-то уходила из-под власти новой государыни, становилась для неё как бы недостижимой, словом, к ней нельзя было подойти ни с какой стороны.

"А где её муж?" – вспомнила однажды Анна.

Ей доложили, что он – слабоумный, проживает у себя в деревне.

Анна Иоанновна приказала представить ко двору "слабоумного" князя Волконского и сама написала о том в Москву, к Салтыкову.

С этим письмом поскакал нарочный в Москву, и Салтыков поспешил исполнить приказание государыни.

В феврале в придворной оранжерее созрели ананасы. Анна Иоанновна со всем своим штатом ездилась смотреть эту диковинку, только что появившуюся из жарких стран, сама собственноручно срезала два ананаса и, оставшись очень довольна этим, вернулась во дворец весёлая и в духе.

Там ей вдруг стало жаль своего хорошего расположения. Она в полдень пообедала, до ужина ещё было далеко, а делать, казалось, решительно было нечего, и Анна Иоанновна боялась, что ей станет скучно.

Спросить сластей и есть она не могла, потому что покушала в оранжерее ананаса; заставить фрейлин петь, – но тогда ничего не останется к вечеру. По вечерам обыкновенно она заставляла фрейлин тешить себя пением.

Она уже начинала хмуриться, как вдруг расторопная, говорливая Авдотья Ивановна Чернышёва, стоявшая у её кресла и следившая за выражением во всех подробностях изученного лица государыни, сказала как раз вовремя:

– Матушка императрица, сегодня из Москвы привезли слабоумного – князя Никиту привезли.

Лицо Анны Иоанновны оживилось.

– Что ж раньше мне никто не сказал? – воскликнула она. – Приведите его, приведите!

Несколько фрейлин бросились исполнять это приказание.

Князя Никиту ввели, и Анна Иоанновна остановила на нём долгий-долгий, казавшийся насмешливым взгляд.

Он стоял, глядя прямо перед собою и, казалось, не только не обращал ни на что внимания, но даже не понимал, где он и что с ним. Глаза его остановились где-то сверху, повыше Анны, лицо было серьёзно, только рот сложился в неестественную, жалкую улыбку.

С тех пор как его одного, запретив ехать с ним Лаврентию, взяли из деревни, и он очутился в тёмном, узком пространстве возка, откуда его не отпускали всю дорогу, он потерял всякое сознание окружающего.

Жизнь, к которой он привык в последние четыре года, то есть с тех пор как взяли у него жену и сына, была перебита. Он единственно хотел двигаться и всё ходил, всё ходил, и от этой ходьбы, от утомления телесного, ему становилось лучше, и душевная боль стихала, и мысли были яснее; но когда его вдруг заперли в тёмный возок, лишили света и движения, мысли его остановились, потом рассыпались, растаяли, и он вовсе потерял сознание.

Князь был привезён с утра, ему дали пройтись по саду и, кажется, облили голову холодной водой; но он всё-таки никого не узнавал, когда ввели его к императрице.

– Ну, здравствуй, князь! – ласково произнесла она. – Аль не узнал меня? Никита Фёдорович не только не узнал её, но даже не слышал её голоса. Он по-прежнему стоял, жалко улыбаясь, и смотрел пред собою.

Анна Иоанновна подождала.

– Да ответь что-нибудь! – сказала она наконец. – Ты глухонемой стал, что ли?

И вдруг на спокойном, восковом лице князя Никиты появилось выражение неизъяснимой кротости, он точно просиял весь и ещё улыбнулся.

– Аграфенушка! – протяжным, долгим, тихим шёпотом сказали его губы. Это лицо, этот шёпот, эта кротость и улыбка были трогательны, жалки и беспомощны; но никому из присутствующих не показались они такими, или, вернее, никто из присутствующих не счёл уместным показать, какое впечатление производил этот человек, привезённый Бог знает откуда, по капризу своевольной повелительницы.

Однако молодые фрейлины опустили глаза, им хотелось плакать, и они мысленно уже читали молитву, чтобы прошло для них благополучно это испытание.

Одна только Анна Иоанновна продолжала торжествующе весело

смотреть на князя Никиту.

"А ведь ты знала его, – где-то глухо говорил в ней какой-то голос, – знала совсем иным и не ожидала, что он стал таким. Тогда было другое, тогда он молодой был, на лошади, в ярком шёлковом кафтане; потом с книгой у окна; но и ты была тогда другая..."

Шут Педрилло в своём пёстром камзоле вдруг нагло подошёл к Волконскому и, посмотрев ему в глаза, хлопнул по плечу, а затем стал с ним рядом.

– А ты, князь, повыше моего будешь, – это хорошо! – одобрительно сказала она.

Ничего не было ни смешного, ни остроумного в этих простых грубых словах, но Анна Иоанновна вдруг раскатилась громким, неудержимым смехом, как будто этот смех давно уже был готов сорваться у неё, но только раньше не было к нему ни малейшей причины, а теперь явилась возможность – и она рада была придраться.

И вслед за нею кругом захохотали все, захохотали неестественно, притворно. Громче и голосистее всех смеялся Педрилло.

Среди этого смеха, который вдруг поразил князя Никиту своим особенным, давно уже не слыханным им гамом, в тумане, застилавшем мысли князя, вдруг стал образовываться светлый промежуток.

"Где я, что со мною? – думал он. – Куда я попал, и кто эти люди?"

И он стал пристально всматриваться в хохотавшую пред ним, с трудом узнавая в этой, казавшейся старше своих тридцати восьми лет, растолстевшей женщине с огромным красным лоснящимся лицом прежнюю герцогиню Курляндскую, Анну Иоанновну.

У ног её дрожала, робея и с испугом оглядываясь на смеющихся людей, как бы спрашивая, что с ними, маленькая собачка-левретка.

Анна Иоанновна перестала смеяться, мало-помалу точно удерживаясь, и сделала вид, что отирает с глаз выступившие от смеха слёзы, так уж всё это было забавно ей. Наконец она опустила руки на колена и подвинула ноги вперёд, словно от усталости. Левретка, которую она задела, чуть отодвинулась вперёд.

– Ах, ты здесь? – обратилась к ней императрица. – Ну, поди-ка, куси, куси, обижают! – произнесла она притворно-жалобным голосом, показывая на князя Никиту.

– Куси... куси... ксс... – слышалось кругом.

Левретка ещё больше сгорбила свою и без того горбатую, тонкую спину и, обернувшись с оскаленными зубами по сторонам, медленно перебирая лапками, подошла к князю Никите и завияла хвостом.

Он никак не мог понять, что всё это значило.

В это время сзади него послышался шум быстро растворённой двери, и Чернышёва вбежала стремглав. Анна Иоанновна вздрогнула и с испугом и гневом взглянула на неё. Но та не смутилась.

– Письмо от его сиятельства графа Бирона, – смело проговорила она, подавая письмо.

Теперь уже истинное, настоящее удовольствие осветило лицо императрицы; она поспешно выхватила письмо из рук Чернышёвой и, сделав знак, чтобы все вышли, стала распечатывать его.

Уехавший ненадолго к курляндской границе, навстречу своей семье, недавно пожалованный граф Российской империи, обер-камергер и первое лицо теперь в государстве, Эрнст Иоганн Бирон писал, что на днях вернётся в Петербург.

Князю Никите показали отведённую ему во дворце, внизу по коридору, комнату. Придя сюда, он не заметил, что маленькая левретка увязалась за ним и прошмыгнула в дверь. Она попалась ему под ноги, но он не обратил внимания.

Он сел на свою постель и, опустив на колена руки, задумался. Теперь он узнал дворец, узнал Анну Иоанновну и понял, что он в Петербурге.

Он успел спросить про Лаврентия, ему сказали, что тут никакого Лаврентия нет.

Князь Никита не разбирал, зачем он снова попал в Петербург, зачем его привезли сюда; об этом он решил подумать после, как только разберётся сначала в другом каком-то нужном вопросе. Что-то в голове вертелось у него важное, но он не мог вспомнить.

"Да, где она?" – как будто вспомнил он, и это, казалось, было то самое, что нужно было вспомнить, но он почти сейчас же забыл опять.

– Ах, нет, – проговорил он вслух и сморщил лицо, – один, один я – вот что, вот что надо решить! Никого ведь нет, и поговорить даже не с кем.

Он несколько раз отмахнул от себя рукою, словно хотел прогнать муху, снова положил руки на колена и затих.

Левретка давно уже сидела прямо перед ним на полу и, будто стараясь заглянуть ему в глаза, умильно помахивала хвостом.

Наконец она, поняв, должно быть, что князь всё-таки не замечает её, быстро прыгнула в постель и, дрожа и прижимаясь к нему, сунула мордочку к его руке и осторожно, как бы спрашивая, можно ли, – лизнула эту руку.

Никита Фёдорович не испугался и не отнял руки. Он с удивлением взглянул на эту маленькую собачку, вдруг, видимо, сразу почувствовавшую жалость к нему и приласкавшую его. Да, она робко, по-своему, по-собачьему, приласкала его. И это было единственное существо, отнёсшееся к князю здесь дружелюбно; это была первая ласка, полученная им в последние четыре года!

Левретка умными, выразительными глазами смотрела на него.

"Ты не один, ты не один", – будто говорили эти глаза.

Волконский невольно стал гладить собачку, и она, сознавая, что ласка ею принята, и притом, как должно, снова стала лизать гладившую её руку.

Что-то давно неизвестное зашевелилось в груди князя Никиты, давно незнакомые, тёплые слёзы показались у него на глазах и потекли, принося и печаль, и облегчение.

Его оставили в покое дня три, как будто забыли о нём.

Он узнал, что граф Бирон вернулся с курляндской границы и теперь был при государыне.

"А ведь где-то был тут, в Петербурге, мой дом... наш дом, – подумал князь Никита, и новый прилив тоски охватил его при этом воспоминании.

– Пойти разве, отыскать его? – Но через минуту он подумал: – Господи,

всё это – томление духа, одно томление духа. Когда же, когда придёт освобождение?.. Поскорей бы, поскорей! Господи, да будет воля Твоя!"

Под конец третьего дня он ходил искать свой дом, но никак не мог найти его и даже прежнего места не узнал.

Князь вернулся во дворец. Вопрос: зачем он попал в Петербург, так и остался для него нерешённым, потому что для него опять наступила потеря сознания.

Что было потом, и сколько прошло времени – Волконский не помнил.

Новый светлый промежуток явился к нему, когда он увидел себя в штофной комнате дворца с позолотой и зеркалами, сидящим почему-то в кресле, поставленном в ногах кушетки, на которой полулежала Анна Иоанновна. Неподалёку на полу сидел на корточках шут Педрилло; рядом с ним – калмычонок. Чернышёва стояла у печки и без умолку, как заведённая, тараторила.

В двери входил граф Бирон. Калмычонок и человек в пёстром камзоле (князь Никита не знал, что это – Педрилло) быстро вскочили при его появлении. Бирон покосился на оставшегося спокойно сидеть на месте Никиту Фёдоровича, подошёл к императрице и почтительно поцеловал ей руку.

– Сейчас был в сенате, – заговорил он по-немецки.

– Ну, что там? – спросила Анна Иоанновна.

– Это невозможно, неслыханно, колоссально! Когда я недавно в Курляндии ездил – все мосты были никуда не годны, и карета моя совсем испортилась. Я призвал сенаторов и сказал, что я велю их для исправления вместо мостов положить.

Государыня рассмеялась.

– Я вот им в сенаторы князя Никиту дам, – сказала она, – князь Никита, хочешь в сенаторы?

– Нет, не хочу, – совершенно просто ответил князь Никита Фёдорович слабым голосом.

Императрица ещё больше рассмеялась.

Князь Никита сознавал теперь всё окружающее, но чувствовал во всём

теле удивительную слабость. Он говорил с трудом. В голове, во всех мускулах лица, а главное, в затылке он ощущал ноющую болезненную усталость.

Анна Иоанновна видела, как поморщился Бирон на не вставшего перед ним князя Никиту, и заметила, что ему неприятно было, зачем она допустила это.

Ей хотелось разговорить графа.

– А вы знаете, что завтра будет? – обратилась она к Бирону. – Завтра на рассвете при хорошей погоде, – впрочем, и при дурной тоже – по Невской перспективе по гладкой дорожке повезут на салазках железную клетку, и в этой клетке будет сидеть красавица писанная, разубранная во весь свой наряд, в великолепном одеянии, с метлой на голове и в рогожной шали, с пеньковыми буклями... Кто бы вы думали?

Бирон, улыбаясь, уже смотрел прямо в глаза ей.

– Не знаю, – сказал он.

– А вот жёнка его Аграфена. Я её на свидание с муженьком выписываю, – спокойно проговорила, хитро прищурясь, Анна Иоанновна, показывая на князя Никиту.

Волконский не мог побледнеть, потому что на его лице давно не было ни кровинки, не мог ужаснуться, потому что он давно носил в душе чувство, которое было и мучительнее, и сильнее всякого ужаса. Он видел теперь только, что силы совсем оставляют его и что он не может ничего ни сказать, ни сделать.

– Что, князинька, невеселы стали? – вдруг обернулась к нему Анна Иоанновна. – Али осердились на меня? Простите меня, сироту вдовую! – Она рассмеялась. – Ну, помиримтесь, полно... нате, целуйте! – и она протянула князю Никите свою обутую в кожаную туфлю ногу.

Волконский не двинулся.

Нога оставалась протянутою.

Бирон несколько раз взглянул бегло то на Никиту Фёдоровича, то на ногу и вдруг вскочил со своего места. Он казался очень возмущённым.

– Неблагодарный шут! – сказал он. – Позвольте мне, государыня! – и он

наклонился.

– Нет, зачем? – застенчиво проговорила Анна Иоанновна. – Оставьте его – он блаженненький, пусть его, а вам руку, – и она подала Бирону свою пухлую, с короткими пальцами и плоскими, с резкими чёрными каёмками на концах, ногтями руку.

Граф взял её своими белыми, тонкими пальцами в кольцах и бережно поднёс к губам.

Князь Никита всё сидел по-прежнему.

– Шут! – наконец слабо, едва слышно проговорил он. – Чем я шут? А впрочем, там, где немецкий конюх первым министром, – там русскому князю, чтобы не становиться с ним на одну доску, пожалуй, остаётся одно уж...

Бирон не дал ему договорить, он вскочил. Но императрица тоже вскочила и, умоляюще отстраняя графа, громко вскрикнула:

– Ах, только не при мне! Завтра я всё велю...

И она выбежала из комнаты.

Бирон бросился за нею.

Князь Никита вдруг встал и, сам не зная как, точно его кто-то вёл, вышел на улицу. Через несколько минут его уже искали по всему дворцу.

Никита Фёдорович шёл по улицам Петербурга так же, как ходил в поле своей деревни – без цели, не зная расстояния и забыв время. Иногда прохожие сторонились от него и с удивлением смотрели вслед этому человеку, одетому в грубый нескладный кафтан деревенского покроя, без шапки и тёплого платья. Князь шёл, не замечая холода, напротив, его голова горела, и точно какой-то молот стучал в ней.

"Что она сказала, что сказала? В клетке железной... Господи, за что? – думал он. – Завтра утром, на рассвете, если даже и дурная погода... Но скоро ли этот рассвет?.. Когда он?"

И он снова шёл. Руки его костенели, и коленам было холодно.

"Странно, отчего это мне холодно? – рассуждал он. – Что это за длинная улица? И какая широкая... А! Это здесь повезут её... это – Невская перспектива".

Он остановился. Здесь нужно было ему быть, здесь остановиться.

Князь огляделся. Небо стемнело, должно быть, давно, потому что в нём горели яркие звёзды, и луна большим серебряным кругом светила со своей высоты.

Над Петербургом стояла ночь. Улицы затихли. И впервые в жизни князю Никите стала страшна луна, то есть не самая луна, а неровные тени, лежавшие на ней, когда он смотрел на неё, как будто это были какие таинственные, неразгаданные знаки, страшные, непонятные. Князь хотел оторваться от них, но не мог. Он смотрел на месяц, хотя это было страшно, и месяц смотрел на него и говорил с ним своими знаками. Он вздрагивал иногда. Кто был этот он, кто вздрагивал – месяц ли или сам князь Никита, последний не знал; впрочем, ему казалось, что месяц. Знаки всё время двигались, медленно расплываясь и меняясь, опять повторяясь. В них была удивительная сила, но только понять их было нельзя.

И долго Волконский мучился так.

Наконец это мучительное состояние тревоги начало мало-помалу таять.

Перешедшая на другую сторону неба луна стала бледнеть, а звёзды начали застилаться светом зари и пропадать в нём одна за другою.

Где-то близко, сверху, почти над самым ухом князя Никиты, раздался удар колокола. Он поднял голову и увидел, что стоит у церкви.

Первая мысль, которая пришла ему в голову, была – войти в Божий храм.

"Рассвет! – остановился он. – Её повезут сейчас! В груди моей скорпионы, и змеи в сердце моём, и черви разъедают мозг мой! – чувствовал он в себе. – Ожидание, ожидание, ожидание... Вот её повезут сейчас".

Князь, заостенелый, холодный, прижался к холодной стене церкви и безумными глазами смотрел на дорогу.

Народа было ещё мало; улица казалась пустынной. Лишь несколько богомольцев прошли в церковь.

"Не скоро ещё!" – подумал князь Никита и вздохнул.

Какая-то старушка с очень умиленным, слезливым лицом и склонённою набок головою, проходя мимо, набожно сунула ему грошик в руку и прошла, часто закрестясь. Никита Фёдорович бессознательно зажал в кулак этот зачем-то поданный ему грошик.

На дороге в это время показалась вдали лошадь, которая везла за собою что-то. Там и народ шёл.

"Она", – мелькнуло у князя Никиты, и он свободною рукою схватился за стену, однако рука скользнула, он едва удержался на ногах.

Лошадь, трясая головою, придвигалась. За нею шла другая, потом третья и ещё. Это был просто обоз. Чухонцы, привозившие провизию на рынок, шли тут же в своих особенных шапках с наушниками.

"Господи, поскорей бы!" – думал Никита Фёдорович.

Мало-помалу улица оживлялась. Никого не везли и никакой клетки не было, да и не могло быть: рассказ Анны Иоанновны о клетке был только шуткою.

IX В МОНАСТЫРЕ

В первое время трудно было Аграфене Петровне Волконской в монастыре. Раннее вставанье, долгое стоянье в церкви, мало питательная и однообразная пища, размеренная и строго определённая жизнь, требовавшая ежеминутного подчинения, – тяготили её. Несмотря на то что она не была пострижена, но только жила в монастыре под "строгим надзором" игуменьи, она должна была вследствие этого строгого надзора безусловно подчиняться всем монастырским порядкам.

Ей не позволяли никому писать и не допускали до неё никаких писем, так что она даже не знала, были ли на её имя письма. Таким образом, ни о муже, ни о сыне, ни о ком из своих она не имела известий.

Политические события доходили до монастыря в рассказах, почти всегда преувеличенных, сбивчивых, в которых трудно было разобраться. Однако из них Аграфена Петровна могла узнать, что великая княжна Наталья Алексеевна скончалась в Москве, затем умер молодой император, и на престол вошла Анна Иоанновна, которую стали поминать на ектениях.

О Меншикове рассказывали, что он после своей ссылки показал удивительный пример смирения и стал совсем другим человеком. Однако он вскоре тоже умер [15] .

"Да, ему легко теперь, – думала Аграфена Петровна. – Если б и мне!.. Всё равно! Разве это – жизнь, как я живу теперь?"

Но сейчас же наряду с этой мыслью у неё являлась почти безумная надежда, что вдруг каким-нибудь непонятным, чудесным образом наступит её освобождение, кто-нибудь явится и выведет её. И она задумывалась об этом невозможном счастье и, поняв его невозможность, снова впадала в уныние.

Дни тянулись одни похожие на другие. Время шло, казалось, очень долго и вместе с тем скоро. Оно было слишком однообразно, не давало никаких событий, которые выделялись бы из ряда вон, и потому всё давно прошедшее казалось свежим и недавним.

В особенности в первое время Аграфена Петровна не могла принять никакого участия в монастырской жизни. Так прошло около двух лет, и она по привычке, наконец, освоилась.

При своём уме и умении жить она сумела поставить себя в монастыре и с матерью-игуменьей, и со старыми монахинями.

Мало-помалу игуменья стала менее строго относиться к ней, разрешала не так часто ходить в церковь, звала к себе, любя её беседу, трапезовать.

Наконец Волконской было передано письмо от брата Михаила Петровича, который прислал в монастырь вклад и обещался не оставлять и впредь денежными высылками.

Игуменья поставила для переписки Аграфены Петровны ограничения, но согласилась на то, чтобы она получала известия от своих близких. Ограничения состояли в том, что письма должны быть непременно на русском языке, не затрагивать никаких других дел, кроме семейных, и главное – получаться как можно реже. Игуменья прочитывала все письма и, если бы условия эти не были соблюдаемы, прямо могла уничтожить письмо.

Самой Аграфене Петровне было запрещено писать. О ней сообщала сведения родным сама игуменья.

Как бы то ни было, для Аграфены Петровны и это было уже немалое облегчение.

О болезни своего мужа она узнала от Михаила Петровича, который со всякими осторожностями сообщал ей, что Никита Фёдорович впал в слабоумие, и что он, Михаил Петрович, взял Мишу к себе.

За сына теперь Аграфена Петровна была спокойна.

Но вскоре последовали невесёлые вести.

С воцарением Анны Иоанновны отец Аграфены Петровны, Пётр Михайлович Бестужев был назначен губернатором в Нижний Новгород [16]. Это назначение равнялось ссылке. Михаил Петрович должен был жить у себя в Белозёрском имении. Один брат Алексей уцелел у себя в Копенгагене.

Избрание Анны Иоанновны было для Волконской, находившейся вдали от двора и всех его интриг и хитросплетений, такою неожиданностью, какую ей показалось бы только её собственное освобождение. Но она знала, что теперь более чем когда-либо невыносимо это освобождение.

Вместе с тем она понимала, что теперешняя её ссылка в монастырь спасла её от многого гораздо худшего.

Теперь у Анны Иоанновны руки были связаны. Что она могла сделать с ней? А что она желала бы сделать? Желала бы, припомнив Митаву и, может быть, Петербург, отомстить ей – в этом Аграфена Петровна не сомневалась.

"Но неужели она, она стала самодержавною правительницей Русского царства? – спрашивала себя Аграфена Петровна. – Господи, если бы знать раньше!.. Но кто же мог подумать?.. Нет, это просто невозможно, это – неправда!"

Однако каждый день, слушая, как в церкви поминали благочестивейшую, самодержавнейшую императрицу Анну Иоанновну, она могла убедиться, что это правда.

Близилась четвёртая уже весна, с тех пор как княгиня Волконская

поселилась в монастыре.

Аграфена Петровна сидела в своей "комнате", как всё-таки по-мирскому называла она отведённую ей келью, и расчёсывала свои длинные волосы, которые стали и гуще и шелковистее, с тех пор как она перестала завивать их и прятать под фальшивые букли. Сегодня утром она мыла голову, и ей нужно было расчесать волосы.

Она смотрела в стоявшее пред нею зеркальце и почти машинально проводила гребнем по длинной пряди, которую прихватила левой рукой. Она смотрела на то лицо, которое было теперь в зеркале, – её и вместе с тем не её лицо. Оно сильно изменилось после того, каким помнила его Аграфена Петровна в Петербурге. Маленькие, но заметные уже морщинки легли у углов глаз, веки были красны от частых слёз, губы потеряли свою свежесть, и под ними, от носа, легли тенью две складки. Щёки обтянулись, и на них показалась матовая желтизна. Правда, слюдовое оконце мало пропускало света и как бы особенно подчёркивало эти морщинки и складки, но всё-таки они были.

"Да, не такая я была!" – подумала Волконская.

И ей невольно вспомнилось, как она, бывало, сидела пред большим трюмо, и Роза со служанками суетились вокруг неё.

"А где-то теперь Роза?" – мелькнуло у неё.

Она ещё раза два провела гребнем по волосам и опустила руку, оглядев свою чёрную полурясу.

"Нет, вздор – всё! – вдруг решила она. – Не то... Всё бы отдала, если бы только увидеть их – Мишутку моего и его... Что он теперь, бедный?.. В деревне, верно... Лаврентий с ним"...

Она тяжело вздохнула, и глаза её наполнились слезами.

Княгиня отбросила гребень и, положив локти на стол, опустила голову на руки. Она чувствовала, как слёзы смачивают ей ладони, но не хотела вытереть их.

– Во имя Отца! – послышался тоненький голосок за дверью.

Аграфена Петровна поспешно провела руками по глазам и, моргая глазами, чтобы не было заметно, что плакала, ответила:

– Войдите!

В комнату вошла девочка-служка с чёрненькими, как вишенки, глазками и быстро заговорила своим тоненьким голоском:

– Матушка прислала меня спросить, как здоровьице вашей сиятельности, и ещё письмецо вам, и ещё приказать изволили, если вам неможется, то чтобы к вечерне не ходили.

Из всего этого Аграфена Петровна услышала и поняла только слово "письмецо", поглотившее для неё всё остальное.

– Где письмецо?.. Давай! – и она нетерпеливо протянула дрогнувшую от волнения руку.

Девочка взглянула на неё своими вишенками и подала письмо.

Аграфена Петровна схватила его и, быстро повернувшись, стала распечатывать, подойдя к окну.

Служка, подождав немного, скользнула в дверь, видя, что "княгинюшка" так занялась письмом, что забыла даже приказать благодарить "матушку".

Аграфена Петровна распечатала письмо с радостью, но едва увидела первые строчки, как удивлённо наклонилась, чтобы ближе и лучше рассмотреть написанное. Этот неправильный, ломанный, писанный почти по складам почерк совершенно не был знаком ей. Она перевернула страницу и посмотрела на подпись. Там стояло: "Авдотья Чернышёва".

"Какая Чернышёва?" – удивилась Аграфена Петровна и опять взглянула на начало письма:

"Аграфена Петровна! – так начиналось письмо. – Живите щастлива на приказе. А пишу вам по приказу Осударыне Царице. Велено вам мне штатс-даме Её Величества и сделать отписку сию штоб вы не беспокоитца изволили насшот мужинька свово князи Никиты, понеже он здрав и не вридим. И Осударыня Царица по неизречённой милости своей пожаловала ево ко двору в Питербурх перевести. И тут он вельми забавен кажет. Место ему определино завидное, поставлен он всемилостивейши смотрэть за собачкой Её Императорского Величества"...

В глазах Аграфены Петровны потемнело. Она с трудом пробегла ещё

несколько строк и трясущимися руками разорвала письмо на мелкие клочки.

– Господи, что они сделали с ним! – с лицом, искажённым ужасом и страданием, воскликнула она, всплеснув руками и сжав их, подняла вверх.

"Больного, слабоумного, несчастного не пожалели! – мучилась она. – Из-за меня не пожалели... Нашла, нашла, чем доконать меня!.. Господи! Но он-то, он, бедный, за что страдает? Впрочем, что ж ему – он не может понять, он уже не от мира сего... Нет, но ведь я, я его имя ношу! Ох, лучше бы меня сослали в Сибирь, в каторгу, лучше голову долой – только не это!.. Только не это!"

– О-ох! – застонала княгиня, схватившись за сердце, а затем, тяжело ступая, отрывистыми шагами подошла к постели и упала на неё.

Она долго лежала неподвижно, с уставленными в потолок глазами, потом поднялась, села на постель, опять сложила руки, стиснула их, прошептав: "Господи, Господи!" – и снова легла.

Несколько минут княгиня лежала так, как каменная, только подбородок её сильно дрожал; потом она вскочила на ноги.

По коридору в это время слышались шаги.

"Знаю, – решила вдруг в один миг Волконская, – знаю, куда идут. Игуменья написано, чтобы она дала знать, как будет принято мною письмо. Ну что ж, пусть, я выдержу".

Дверь действительно отворилась, и на пороге показалась игуменья.

Аграфена Петровна стояла посреди своей кельи, гордая, наружно спокойная, холодная, спиной к окну, чтобы не было видно её лица, и заслонила собою брошенные на пол клочки разорванного письма.

Игуменья сделала какой-то вопрос и ушла.

И едва ушла она, Аграфена Петровна снова без сил упала на кровать.

Анна Иоанновна отомстила ей.

Х КОНЕЦ

Долго напрасно искали придворные слуги князя Никиту, после того как

он, ответив Бирону, ушёл из дворца.

Дали знать генерал-полицмейстеру, и наконец на другой день утром генерал-полицмейстер нашёл Волконского, совсем застывшего, у церковной стены.

Никиту Фёдоровича привезли во дворец без чувств, недвижимого, с крепко зажатым грошиком в левой руке.

Оскорблённый Бирон сказался больным и не прибежал в этот день к государыне.

Анна Иоанновна быстро ходила по своей опочивальне, ожидая результатов розыска, когда ей доложили, что князя Никиту привезли без чувств.

– Привести в чувство! – приказал она.

Но это приказание не могло быть исполнено.

Когда через несколько времени Анна Иоанновна осведомилась через Чернышёву, что с князем Никитой; ей доложили, что он "кончается".

Государыня вздрогнула и набожно перекрестилась. Она не ожидала этого.

– Что с ним? – спросила она.

Оказалось, что Никита Фёдорович, как его привезли, не открывал уже глаз и всё время лежал без движения, а теперь уже "обирать себя начал" и по лицу его "тень прошла".

– Доктора! – проговорила Анна Иоанновна. – То есть нет, священника – причастить его.

Князь Никита открыл глаза, когда его причастили. Он спокойно проглотил Святые Дары, сделал медленный, большой крест над собою и потом затих.

Никто не видел, как и когда он скончался, но во всяком случае эта кончина была тихая и светлая. Мёртвое лицо князя с застывшею, ясною и кроткою улыбкою говорило об этом.

Волконский был так торжественно спокоен, как будто с радостью, с полным сознанием своего "освобождения", о котором думал всю жизнь и которого только и ждал от жизни, встретил свою последнюю минуту

здешней, земной, давно тяготившей его суеты. Он нашёл наконец, чего искал, и успокоился, постигнув таинство смерти. Тут не было ничего ужасного, ничего страшного – жизнь была гораздо ужаснее и страшнее. Томление духа князя Никиты прекратилось, он был свободен теперь.

К вечеру Анна Иоанновна послала Чернышёву узнать, что с Волконским. Чернышёва застала его на столе. Его уже "убрали", и маленькая комнатка его перестала быть жилою; в ней было холодно, пахло ладаном, свечами.

Авдотья Ивановна боялась мертвецов, но при взгляде на этого, лежавшего со сложенными руками на столе, спокойного, кроткого, точно заснувшего, человека, или, вернее, того, что было человеком, ей нисколько не стало страшно, и она совсем без всякой робости положила земной поклон, а затем поцеловала заостенелую, уже безжизненную руку.

Она вернулась к Анне Иоанновне, растроганная, взволнованная и старающаяся скрыть своё волнение, и, чтобы не пугать государыни присутствием мёртвого во дворце, решила не говорить ей о случившемся. Но Анна Иоанновна догадалась.

– Кончился? – спросила она.

Чернышёва молчала.

– Кончился, спрашиваю я?! – грозно переспросила государыня, и статс-дама должна была ответить:

– Да!

Анна Иоанновна опять заходила по комнате.

Наконец она подошла к большому киоту с образами и грузно опустилась своим большим, тяжёлым телом на колена. Перекрестившись, она сложила руки и начала молиться, кладя земные поклоны.

Чернышёва прислонилась к печке и, боясь шелохнуться, притаила дыхание.

Анна Иоанновна, поклонившись в последний раз, не без труда встала с колен и, оглянувшись, как бы спросила глазами Чернышёву:

"Ах, ты ещё здесь? Да, ты мне нужна".

– Вели, чтобы там, у него, всё хорошо было! – сказала она ей. – Да вели заложить карету и приготовить в летнем дворце несколько покоев: я сегодня там ночую.

Она ни разу в продолжение дня, с тех пор как ей сказали, что князь Никита "кончается", не спросила про Бирона.

На другой же день императрицею был послан нарочный в Белозёрское имение Бестужева с приказанием привезти сына Никиты Фёдоровича.

Анна Иоанновна определила Мишу в только что учреждённый ею кадетский корпус и отнеслась к нему весьма милостиво.

Впоследствии князь Михаил Никитич Волконский – генерал-аншеф и всех российских и польских орденов кавалер, был известный главнокомандующий Москвы времён императрицы Екатерины II. Он отличился в войне с турками и затем был послан в Польшу полномочным министром. Потом он участвовал в походе против Пруссии. Екатерина II назначила его сенатором и своим генерал-адъютантом. Во время междоусобия в Польше князь Михаил Никитич, по высочайшему повелению, вступил в эту землю со вверенным ему корпусом и помог избранию в короли Станислава Понятовского. В 1811 году он был назначен главнокомандующим Москвы.

Один из современников так отзывался о нём:

"Князь Михаил Никитич, одарённый от природы необыкновенным умом, любил благодетельствовать, был великий хлебосол, обходителен с низшими, но горд с временщиками. Императрица Екатерина два раза мирила его с Потёмкиным".

Первая мысль о разделе Польши принадлежит Михаилу Никитичу. Он же составил проект о лучшем учреждении судебных мест и разделении империи на губернии.

Аграфена Петровна кончила свои дни в Тихвине.

Князь Никита Фёдорович Волконский похоронен рядом со своими родичами в Боровском-Рождественском-Пафнутиевом монастыре, при защите которого родной прадед его, Михаил Константинович, пал у самого гроба св. Пафнутия

